

АНДРЕЙ БЕЛЫЙ

ВОСПОМИНАНИЯ О БЛОКЕ

Собрание сочинений

Москва
Издательство "Республика"
1995



Глава четвертая ПЕТЕРБУРГ



Жизнь в Москве

По приезде из Шахматова, распростившись с С. М. Соловьевым, поехал в имение *"Серебряный Колодезь"*[1]; хотелось остаться с собою самим; и А. А. писал редко; и я писал редко ему; мне запомнилось прочно одно лишь письмо *; в нем звучала глубокая грусть[2]; а — расстались мы ясно; под дымкой предчувствия были написаны тихие строчки, в которых почуялось мне опасенье за какое-то будущее, угрожающее; в это время видел я сон: А. А. явился передо мной, занесенный туманом; Л. Д. вижу явственно: бледную, в черном обтянутом платье, которое появилось чрез два только года на ней.

Пребывание в Шахматове отразилось во мне напряжением, закипающей внутренней жизнью, желанием сказать еще раз зорям — "да"; мне запомнилась ширь уже сжатых полей; и — пологие склоны оврагов; в то время усиленно занимался я Гефдингом[3], чтением *"Метафизики"* Вундта[4] и *"Психологии"* Джеймса; я так же внимательно перечитывал *"Критику"* Канта[6], перерабатывая свое прежнее отношение к Канту, готовил эскиз для введения в книгу, которая вырастала в сознании; эскиз напечатан был в *"Новом Пути"* (тут же, вскоре) — "О целесообразности"[7]; принципы целесообразности я объясняю из образов переживанья, которое — цельно; все символическое есть *цельное;* цель — абстракция целого; цель есть то самое, что во мне поднимает переживание ценности; от целевого абстрактного взгляда на жизнь мы должны перейти в область праксиса; философия

---

* Моя переписка с А. А. сохранилась.

практического идеализма вставала во мне; мне казалось, что я подошел к пониманию мифологемы, построенной в Шахматове; "Lapan" — был мной понят.

В переживаньях сознания — дана достоверность; сознание — растяжимо; предел достоверности — тоже; само восприятие — лишь зависимая переменная переживания; видимость — переменная восприятий, а чувственность — переменная видимости. Эта вера в творение ценностей жизни вдохнулась мне Шахматовым (точно мы сотворили там Новую Жизнь); окончательный символ дается в прообразах, в ценностях; наш треугольник и "око" меж ним для меня стал прообразом чаемой, окончательной жизни, приподымающей Человечество, или Ее. *"В этом смысле Она"*, — писал я, — *"есть Честнейшая Херувим"*. Человечество брал я по Конту, оригинально толкуемого Соловьевым (Владимиром): *"Выводы... философии заставляют рассматривать человечество, как живое единство"... И — "Соловьев отождествляет... тот культ* (человечества)... *с культом Мадонны"*[8]. Тут мне представлялось так ясно: Петровский, и я, и С. М. — культ открыли: возжжением ладана перед Мадонной — в Москве; но возжжение ладана было лишь символом ладана душ, вознесенного в ласковость *"шахматовских"* закатов; да, в *"шахматовской"* заре мне почуялась эра; и да, Теократия, — знал я, придет, будет; мы Ее — начинаем; эскиз заключал парадоксом:

nous voulons être positivistes,
nous devons poser l'Etre[9].

Эта формула — прежде дана: философией католицизма Росмини; с Росмини я не был знаком; я указывал: *"Образуется... рыцарский орден, не только верящий в утренность своей звезды, но и познающий Ее"*[10]. Предполагалось, что орден — сложился: три рыцаря ордена — я, А. А. Блок и С. М. Соловьев. Разве не были глупы мы? Мне, прочитавшему Канта, натуралисту, — не стыдно ли было кидаться в волну беспросветной романтики? Нет: не осуждаю себя:

Бросай туда, в мое былое,
В мои потопные года, —
Мое рыдающее горе,
Свое сверкающее: *"да"!*
Невыразимая Осанна,
Неотразимая Звезда:
Ты — откровеньем Иоанна
Приоткрывалась: *навсегда.*

Сделал выписки из очень вялой статьи, потому что она в моих замыслах открывала дорогу другим, не написанным мною; хотел агитировать я: проводить философию Духа, иль — *"Третий Завет"*; то писал не А. Белый: "Lapan" написал все; шуточные гротески о *"блоковцах"* я задумал нешуточно обосновать; и — наткнулся на трудности справиться с логикой,

бросившей меня прямо к Канту; от Канта же к Рилю[12]; от Риля же — к Риккерту[13]; так уткнулся я в Риккерта, выгрызая старательно за страницей страницу из "Gegenstand der Erkenntniss", исписывая вереницы листов (все — потеряны), пролагающих путь — от Риккерта к... к..."Lapan'y".

Между тем осенило, златело, шуршало сухим листопадом; стояла закаты разъявшая осень; как часто в то время я забираюсь в поля; и — часами, присев на снопах, — дорабатываюсь до собственного посвящения в жизнь: дорабатываюсь до эмблематики смыслов (написанная *"Эмблематика Смысла"*[14] — осколок системы, возникшей в те месяцы), до философской поэмы моей, восхваляющей наши сидения в Шахматове и воспевающей в Философии — тайны Софии.

Уже веяло златолистием; сжатые нивы пылали; метались по ветру метелки полыни да колко-малиновые помпоны татарников. С матерью в эти дни мы задумывали поездку в Саров; близ Сарова, в обители Серафимо-Дивеевской[15] проживала монашкой сестра Алексея Сергеевича Петровского уже несколько лет; она приобщила его почитанию Серафима[16]; зачитывались мы записками Серафимо-Дивеевского монастыря; и живые традиции Серафима влагалися в душу; прообразом чаемой жизни звучал мне Саров, этот явленный многим паломникам Китеж; мне помнится, что в сентябре[17] из Серебряного Колодца (имения нашего) едем мы с матерью к соснам Сарова, к источнику Серафима.

Саров оставляет в душе моей нотку какого-то гложущего разочарования: грубость монахов, открыто построивших благополучие жизни на слухах о чудесах, шесть гостиниц, наполненных людьми, все это осталось каким-то базаром; но сосны Сарова и прядающий животворный источник осталися в памяти. Наоборот: проведенные миги в Дивееве, впечатление от монашек и впечатление от разговора с сестрою Петровского, милой Еленой Сергеевной, посвятившей себя по окончании гимназии Фишер суровому, монастырскому подвигу, великолепные окрестности и канавка, прорытая самим Серафимом вокруг монастырской обители, не имеющей стен, — до сих пор в моей памяти ясны, светлы. Переживания Шахматова, воскурение ладана пред статуэткой Мадонны связались в сознаньи моем с днем дивеевской жизни; Дивеево, по преданью, находится под особенным покровительством Богородицы.

Помню: осенью вышли первые стихи А. А. Блока в книгоиздательстве *"Гриф"*; вероятно, читателю бросилась бы в глаза немотивированная отметка на книге: *"Разрешено Цензурою. Нижний Новгород"*. Книга же вышла в Москве. Нижегородская цензура ее разрешила к печати; боялись мы все, что московские цензора кое-что могут вычеркнуть в книге, или, что хуже всего: могут книгу отдать для просмотра духовной цензуре; чтобы спасти целость книги, ее мы послали Э. Метнеру, почитателю поэзии Блока. Э. Метнер капризною волей судьбы занимал место цензора в Нижнем, которое вскоре он бросил, охваченный революционной волной; так желанием сохранить текст нетронутым объясняется эта отметка на книге.

Стихи о Прекрасной Даме

Когда говоришь о поэте, то говоришь о центровом его образе, о мифе сердца его и о мифах, с ним связанных, требующих огромного комментария; если бы мы могли разложить эти мифы на мысли, то каждый "*миф*" Блока потребовал тома бы.

Говорить мне о внутренно-ясном и сложно-неясном во мне — не могу; и заранее обещаю, что многое в моих темах касания Блока покажется образным, т.е. рассудку неясным: ведь ясная мысль не совпадает конечно же с ясностью рассудочной мысли; порой ясно мыслить — наверное, быть обреченным к неясному выражению, т.е. отчетливо знать, что вот здесь, например, должна кончиться ясность; и — выступает из-под нее темный смысл (для рассудка) — все же ясный, когда мы положим его в наше сердце, и он в нашем сердце заяснится процветающим образом; выжидать, чтобы образ созрел, не кромсать его в сердце рассудочными определениями, — это значит: быть ясным.

Блок — наш национальный поэт; его участь — всем нравиться без объяснения, чем он нам нравится; объяснения — периферичны; и понимание *умом* не покрывает глубины сердечного взятия; Пушкин понравится 12-летнему гимназистику: и ему, уже ставшему сорокалетним; сорокалетний, быть может, впервые, сознает природу поэзии Пушкина; но — так ли сознает, как гимназистик? Многие не пережили *вторичного* соприкосновения с поэтами; и — остаются при "*гимназическом*" понимании поэзии их; все оценки, диктуемые таким пониманием, — плоски; не убраны здесь предрассудки сознания; не попадает поэт в наше сердце.

Поэтому нам надо подставить, как чашу, сознание наше; и ждать, иногда очень долго, чтобы струя его жизни действительно пролилась в нас; поэт должен в нас пережить себя; мы должны наблюдать "*его*" жизнь в нащем сердце; на основании лишь такого конкретного наблюдения из нас прорастают суждения о музе его.

Понять Гете — понять связи "*Фауста*" со световою теорией[18]; понять Блока — понять связь стихов о "*Прекрасной Даме*" с "*Двенадцатью*"; вне этого понимания — Блок партийно раскромсан и разве что отражается в однобокой политике, которую он сам называет "*маркизовой лужей*". Не отдать Блока "*луже*" — пройти в его мир, где один за другим из ствола поэтической жизни, как ветви, росли его мифы; и тут упираемся мы в первообраз его: тут "*Прекрасная Дама*" встает.

Все, написанное о Ней — полно пошлости, плоскости; видеть в Ней стиль и романтику средних веков, после смытую *реальными*, гражданскими темами, — непонимание Блока; увидеть в "Ней" сказку, приятную нам, — непонимание тоже. "Прекрасная Дама" непроницаема без *вольфильства*, без *вольного* философствования; в Ней — огромная, философская тема; и Блок в этой теме конкретный философ, то есть не тот кто штудирует серии теоретических книг — а тот, именно, кто своим переживаньем во плоти загадывает философскую тему.

Понять философскую или, верней, антропософскую тему его без узнания импульсов, одушевлявших сознание лучших русских 1900—1901-ых годов — невозможно; национальные поэты суть органы дыхания коллективов (больших или малых — не все ли равно); мы отметили его связь с Соловьевым; она — не случайна.

Начало девятисотых годов и конец девяностых — огромное, переломное время: все кризисы, которые переживаем мы ныне, — начало свершения перелома, уже наступившего в 1901 году; очень многие русские души так встретили этот год; Блок явился вождем их. В период времени написанья стихов "Ante Lucem"[19] устремления художников и мыслителей пересекались в *темном, в до-светном;* господствовал — пессимизм; небытие — разливалось; тогда Александр Александрович из себя выговаривал время, до-светное время: *"Пусть светит месяц — ночь темна", "Ночь распростерлась надо мною", "На завтра новый день угрюмый еще безрадостней взойдет", "Мне снилась смерть", "Земля мертва, земля уныла...", "Я стар душой. Какой-то жребий черный — мой долгий путь", "И сам покой тосклив, и нас к земле гнетет бессильный труд, безвестная утрата...", "Стала душа, пораженная, комом холодной земли";* никакой еще Ее (с большой буквы) на горизонте сознанья А. А. не подымается вовсе; все женственное, что мы встречаем в строках, сосредоточено вокруг темы Офелии, земной девушки. Так 23 декабря 1898 года он пишет:

Но ты, Офелия, смотрела на Гамлета
Без счастья, без любви...[20]

А 8 февраля 1899 года опять пишет песню Офелии[21]; 28 мая 1900 года опять поминает Офелию он:

Мои грехи в твоих святых молитвах,
Офелия, о нимфа, помяни[22].

Мы уже знаем, что образ Офелии связан для Блока с его ранней юностью, когда он, гимназист, играл Гамлета; роль Офелии исполняла Л. Д., будущая невеста А. А. [23]

Лишь 29 июля 1900 года, сейчас же после кончины Владимира Соловьева, подъемлется первая тема Софии у Блока. Офелия исчезает в строках:

То Вечно-Юная прошла
В неозаренные туманы[24].

В следующем по времени стихотворении, помеченном 22 сентябрем 1900 года — опять *Вечно-Юная ("Она"* с большой буквы):

И в одиноком поклоненьи
Познал я истинность Твою[25].

25 ноября в том же году опять обращение к Ней:

Я ждал Тебя. Я дух к Тебе простер.
В Тебе — спасенье[26].

Офелии — нет.

А в 1901 году раскрывается во всей силе Ее озаренье для Блока. *"Ее"* — не называет вначале никак он; *"Она"* — не имеет ни образа, ни подобия. *"Она"* есть *"Она"*.

"Ты — лучезарное виденье", *"То — Вечно-Юная"*, *"И Ты вдали"*, *"Я ждал Тебя"*. Сначала *"Она"* для него без-эпитетна и без-образна. Первое более внятное определение *Вечно-Юной:* Она — Дева, Закатная и Таинственная.

... Явись ко мне без гнева,
Закатная, Таинственная Дева[27].

Тогда же в поэте туманно откладывается Ее внутренний облик, живущий в душе: и он — *неизменен.*

Все в облике *одном* предчувствую Тебя.[28]

Каков этот облик в начале явления своего пред поэтом? Какие цвета сопровождают его? *Лучезарность, золото и лазурь* Ей сопутствуют: "Ты — *лучезарное* виденье", "И *лучезарность* близко", "Жду волны — волны попутной к *лучезарной* глубине", "Ты над могилой — *лучезарный* храм" и т.д.

А солнечное *золото* и *лазурь* — вот они: "И Ясная, *Ты солнцем* потекла", *"Солнце разлейте"*, "Этих снов *золотых*", "Нити бегут *золотистые*"... "Ты *лазурью* золотою просиявшая навек"... "В этой бездонной *лазури*"... "Это — бог *лазурный*... шлет... дары", "кто-то шепчет и смеется сквозь *лазоревый* туман"... *"Ты лазурью сильна"*... "Твоей *лазурью* процвести"... "Вдруг расцвела, в *лазури* торжествуя"... "И... Ты плывешь в объятия *лазурных* сновидений"... "Тобой *синеют,* без границы моря, поля и горы, и леса"... Эта *"лазурь"* во второй половине 1901 года уже ослабляется: в голубое: "Прошла *голубыми* путями" (16 июля), "Над Твоей *голубою* дорогой" (16 июля), *"Голубая* царица земли" (16 декабря), *"Голубая* даль светла" (29 декабря), "Смотрит, смотрит свет *голубой*" (29 декабря).

Золото и лазурь — иконописные краски Софии; иконное изображенье Софии сопровождают те краски; и у Владимира Соловьева *"Она"* — пронизана *лазурью золотистой;* или — в ней лазурь: "О, *как в тебе лазури... много"*... У Владимира Соловьева Она опускается с неба на землю, перенося свое *золото и лазурь* к нам, сюда:

Знайте же, Вечная Женственность ныне
В теле нетленном на землю идет.

В этом предвозвещеньи схождения на землю Ее А. А. вместе с Владимиром Соловьевым — духовный максималист.

Является стремление соединить вершину мысли с вершинною точкою личности; воплотить философию нового времени в жизнь; то стремление — своеобразный *максимализм,* отделяющий, например, Эмпедоклову философию о стихиях от самого Эмпедокла[29], соединяющегося со стихией огня в мифе, о том, как он бросился в Этну. Стремление вот к такому максимализму рождает нам тему поэзии Блока.

Фауст — абстрактный максималист до первой сцены из *"Фауста":* до тоски по конкретному, заставляющей его взять чашу с ядом; решенье убить себя, — высекает в душе его жизнь; и жизнь отвечает: "Christ ist erstanden![30]" И Фауст выходит в весну; там встречает он Гретхен; не понимая видения, поступает с Видением, как... Дон-Жуан: Мефистофель, Рассудок, — мешает понять: Гретхен есть Беатриче, его проводница к голосу Жизни; она только зеркало, — в котором отображается Та; к Ней ангелы Фауста возносят по смерти; и там в синеве созерцает он тайну Ее, через Нее узнает, кем была ему Гретхен; Гретхен встречает на небе:

Der früh Geliebte,
Nicht mehr Getrübte,
Er kommt zurück[31].

На земле Фауст Гретхен не понял: и не сумел в ней увидеть соединенье Вечного с временным; разрезал в ней Вечное линией времени: убил Гретхен; убийство — самоубийство вместе со всеми следствиями — содержание двух частей *"Фауста"* и описание пути к конкретному максимализму; из *"кукольного своего состояния"* (Faust in Puppenzustand) вылетает он яркою бабочкой духа, Марианнусом:

Das Unbeschreibliche
Hier ist getan[32].

Искание пересечения Вечного с временным, точка слияния Вечного с временным, стремление охватить время Вечным — конкретные поиски молодых символистов начала столетия: *символ* их символов — акт воплощенья Виденья, ведущего к созерцанию тайны Той, которая есть Mater Gloriosa[33].

Таков образ Музы у Блока; кончается *"Фауст"* им; им открывается Блок.

Он — поэт-символист, теоретик-практик, понявший конкретно *зарю* Соловьева, зарю наступления новой эпохи; он понял: *заря* есть сечение небом земных *испарений;* и — стало быть: понял — конкретное *"да"* той зари в переплавлении слоев жизни до разложенья телесности на *"мозги и составы"* (прекрасное выражение Апостола Павла), до облеченья себя новым телом культуры иль ризы Ее, уподобляемой *эфирному току,* пресуществляющему отношения человеческие в "Das Unbeschreibliche"[34]:

Фаусту это лишь стало возможным по смерти; о нем возглашают небесные хоры:

Vom edlen Geisterchor umgeben,
Wird sich der Neue kaum gewachr,
Er ahnet kaum das frische Leben,
So gleicht er schon der heil'gen Schair.
Sieh: wie er jedem Erdenbande
Der altem Hülle sich entrafft
Und aus ätherischem Gewande
Hervortritt erste Jugendkraft[35].

(Faust)

В Видении Блока загадано Блоку: произвести на земле — катастрофический акт: совершить несовершимое.

Будут страшны, будут несказанны
Неземные маски лиц...
Буду я взывать к Тебе: Осанна!
Сумасшедший, распростертый ниц.
И тогда, поднявшись выше тлена,
Ты откроешь Лучезарный Лик.
И, свободный от земного плена,
Я пролью всю жизнь в последний крик[36].

"Надвигается революция Духа" — так гласят: философия и поэзия Владимира Соловьева, никому не известный еще, замечательный *"Третий Завет"* А. Н. Шмидт и еще не поднявшийся на поверхности жизни *антропософический* западный импульс, подводящий по-своему к встрече с Софией.

А. А. Блок в первой книге стихов — заостритель огромного импульса, подходящий к нему несравненно решительней Владимира Соловьева.

Уже для А. А. выявление Ее облика есть не мистический акт, а культурное деланье, предстоящее, может быть, завтра же — каждому. Как философски оформить проблему и как обложить ее Контом, Владимиром Соловьевым, — задача конкретных философов. И при помощи философии можно растолковать: тема яркой поэзии Блока, — не сказка, не стиль; она — тема, имеющая огромное философское основание.

Блок тогда уже знал, что со старым покончено; рухнули старые формы; и времена изменились; органы восприятия — перерождаются в нас. Все грядущие *светы и тьмы,* для поэзии Блока загаданы в том же образе: *"Ты"*.

Не знаешь Ты, какие цели
Таишь в глубинах Риз Твоих,
Какие ангелы слетели,
Кто у преддверия затих...
В Тебе таятся в ожиданьи
Великий свет и злая тьма —
Разгадка всякого познанья
И бред великого ума[37].

Понять А. А. Блока — понять: все есть для него объяснение звука *зари*, совершенно реальной; конкретностью окрашено для него наше время; и выход поэзии Блока из философии Соловьева, есть выход в конкретности *факта* зари; в *воплощения* Вечного в жизнь: это поняли символисты; аллегористы и декаденты, — не поняли: все искания и воплощения возникали проблемою связи Владимира Соловьева и Федорова[38] с философией русской общественной мысли (с Лавровым[39] и с Герценом).

Следующая стадия: — соединение философии Федорова (воскресение индивидуального) с углубленной проблемой народничества, воскресения народного коллектива как хора, оркестра, которой кончается "Фауст":

Alles Vergängliche
Ist nur ein Gleichnis;
Das Unzulängliche
Hier wird's Ereignis;
Das Ubeschreibliche
Hier ist getan.
Das Ewig-Weibliche
Zieht uns hinan[40].

Только Gleichniss'ы[41] новой проблемы становятся Ereigniss'ами[42] мирового процесса, мистерией, солнечным градом и Новым Иерусалимом, Покровом Господнем; и этот Покров — *Вечной Жены*, Той, Которою кончается творчество старого Гете, Которою начинается творчество юноши Блока: конец здесь — начало; конец гуманизма; начало антропософии, примиряющей Запад с Востоком, являющей в конце варварской, капиталистически-буржуазной культуры не древнего эллина, а ветхого деньми Скифа в провиденциальном аспекте. Так *"Скифы"* загаданы уже нам в первых годах поэтической жизни А. А.; лики их — в складках ризы у Той, о Которой гласится:

Höchste Herrscherin der Welt,
Lasse mich im blauen
Ausgespannten Himmelswelt
Dein Geheimnis schauen...[43]

(Goethe)

Мы преклонились у завета
Молчаньем храма смущены.
В лучах божественного света
С улыбкой ласковой Жены.

Единодушны и безмолвны,
В одних лучах, в одних стенах,
Постигли солнечные волны
Вверху — на темных куполах.

И с этой ветхой позолоты
Из этой страшной глубины
На праздник мой спустился Кто-то
С улыбкой ласковой Жены[44].

Блок эпохи *"Крушения гуманизма"*[45] и *"Скифов"*, есть Блок, нам рассказывающий отдельные из эпизодов огромного мирового переворота, начавшегося от реакции соединения *неба с пучиною вод:* там на небе улыбка *Жены,* а из бездны навстречу выходят прообразы Скифов, протянутых к свету из-под обломков обвала гуманистического ренессанса; и скифская линия русской поэзии, голосами Есенина, Клюева[46] и Орешина[47] в более поздних годах, перекликается с линией, исходящей от Блока и Соловьева.

Есть у Гете в теории красок великолепный отрывок, трактующий о моральном восприятии краски, где цвет превращается в символ морального мира; и палитра у поэта, и цвет его зорь, освещенье ландшафтов его дает нам бесконечное множество черточек, выясняющих его воззренья на мир: так: поэт сам себя истолковывает в выборе цвета.

В 1899 году А. А. говорит:

Земля мертва, земля уныла...
Вдали —*рассвет*[48].

Через год он пишет:

На небе *зарево...*

Но все еще: —

...глухая ночь мертва,
Толпится вкруг меня, лесных дерев громада,
Но явственно доносится молва
Далекого, неведомого града[49].

Звук грядущего града к нему приближается.

А через месяц уже умирает В. С. Соловьев, раньше всех увидавший, что —

Всходит омытое
Солнце любви...[50]

(Июнь 1900 года)

Потому что, — *"Вечная женственность ныне идет!"*. В месяц же смерти Владимира Соловьева Блок пишет:

То вечно Юная прошла
В неозаренные туманы[51].

(Июль 1900 года)

Перед этим еще не был вовсе разгадан А. А. Ее образ; тот образ вставал перед ним в символическом образе Гамаюна, в стихотворении, посвященном картине В. М. Васнецова:

Она вещает и поет
Не в силах крыл поднять смятенных...
Вещает иго злых татар,
Вещает казней ряд кровавых,
И трус, и голод, и пожар,
Злодеев силу, гибель правых[51]...

Так пред явлением своим в лике *Света* Она появляется в образе мстящем: вещает грядущими "страшными летами", которые после уже воспевает поэт; все вещает она: будут — *"Скифы"*, и *"Куликово Поле"*, и *"Калка"*, и — что еще? У Владимира Соловьева *Она* появляется Девой-Обидою, плещущей крыльями; старые символы Руси далекой соединяются с новыми символами Руси грядущей, *"Слово о полку Игореве"* с *"Куликовым Полем"* будущего, возглас *"О, Русская земля, за шеломенем еси"* с возгласами стихотворений Вл. Соловьева, с картинами Виктора Васнецова. Туманная атмосфера ушедшего века раскрылась в блесках огней.

Ищу спасенья.
Мои *огни горят* на высях гор.
Всю область ночи озарили.
Но ярче всех — во мне духовный взор
И Ты вдали... Но Ты ли?
Ищу спасенья.

Стихотворение оканчивается словами:

Там сходишь Ты с далеких светлых гор.
Я ждал Тебя. Я дух к Тебе простер.
В Тебе — спасенье!..[52]

В стихотворении намечены все особенности эпохи, в которую начинаем уже мы конкретно вступать: и напряжение чаяний, и великий соблазн от подмены (— Но — Ты ли?).

Предчувствую Тебя. Года проходят мимо —
Все в образе одном, предчувствую Тебя.
Весь горизонт в огне — и ясен нестерпимо,
И молча жду, — *тоскуя и любя.*

Весь горизонт в огне и близко появленье,
Но страшно мне; изменишь облик Ты?
И дерзкое возбудишь подозренье,
Сменив в конце привычные черты.

О, как паду и горестно и низко,
Не одолев смертельные мечты!
Как ясен горизонт! И лучезарность близко.
Но страшно мне: изменишь облик Ты[53].

В стихотворениях летних 1901 года у Блока характеристика Ее веяний совпадает во всем с характеристикой Владимира Соловьева: в *лазури* и *в золоте* оба Ее созерцают; но она выявляется в чисто *блоковском*

переплетении тем; индивидуальней, интимнее звучат темы у Блока; и — далее, с осени того года рисуется нисхождение Ее в хаос стихийного мира, в *"пучину морскую"*; здесь сферы Ее пересекаются уже с сферой Майи (*"Астарты"* по Блоку); и возникают соблазны, неведомые поэзии Соловьева: по-новому восстанавливается связь с Фетом и с Лермонтовым; и — появляются: врубелевские тона.

Лучезарность не сразу является в строчках Блока; она разгорается из *"огней"* ("Мои *огни* горят на высях гор...", "Весь *горизонт в огне*").

Слетает — в вихре и *огне*
Крылатый ангел от страниц Корана[54].

(3 июня 1900 года)

Потом — *"огней"* нет: есть *лазурь* и есть *золото*.

Но *"огни"* подымаются сызнова: "Стану, верный велениям Рока, постигать *огневую* игру"... "Я умчусь *огневыми* кругами" (18 августа), "*Пылаю* я" (2 ноября), "Как сердца *горят* над бездной", "За ладьей — *огневые* струи — беспокойные песни мои" (20 декабря), "Первый день твоей весны будет *пламенное* лето" (25 декабря).

Эта вспышка огней сопровождается ослаблением *лазури до голубого*, от приближения Ее к сферам, где Лик начинает *двоиться* Ее, заслоняемый Ликом Астарты:

Но и ночью в час ответа
Ты уйдешь в речной камыш[55].

(14 июня 1901 года)

Или: *"Ты — другая, немая, безликая, притаилась, колдуешь в тиши"* (23 ноября 1901 года), *"Злая дева, за тобою вышлю северную ночь"*. Это уже не *"Она"*, Кто — *"лазурью золотистой* просиявшая навек".

От тяжелого бремени лет
Я спасался одной *ворожбой*.
И опять *ворожу* над тобой,
Но не ясен и смутен ответ[56].

Тут *"она"* — с буквы маленькой.

Я все гадаю над тобою,
Но, истомленный *ворожбой*,
Смотрю в глаза твои порою
И вижу *пламень* роковой[57].

И вдруг — перепутываются отношения: то он обращает к *"ней"* (с маленькой буквы), к Астарте, то вдруг обращает к Той, Ясной, которую помещает он в *терем* (?), которую в терему он пытается страстно настигнуть:

И когда среди мрака снопами
Искры станут кружиться в *дыму*,
Я умчусь с *огневыми кругами*
И настигну Тебя в терему[58].

Дым огней превращается в *тени*, которые начинают все более выступать и противиться пресуществлению Ее хаоса водного; и *лазурь* — померкает, а *золото* — то подменяется светом, а то осаждается *позолотою* на *церковных* стенах.

До осени 1901 года Она объективно сияет А. А., как Владимиру Соловьеву, а свет Ее, проницая душевность, в душевности топится, растворяется; и подымаются страстные, я бы сказал, что хлыстовские ноты *радения, нетерпения, ожидания Ее* сошествия в личную биографию; Лик Ее оплотневает; и — появляется ряд новых образов, сопровождающих главную тему поэзии Блока.

Появляются *Церковь* и *Храм*, не духовный, сияющий храм, а храм каменный. Слово *"церковь"* сперва очень редко встречаем у Блока.

Но с глубокою верою в Бога
Мне и *темная церковь* светла[59].

Здесь А. А. нуждается в церкви еще, как в существенном знаке.

Уже в конце года в другом лейтмотиве "она" (с буквы маленькой): с атрибутами чар, *как волшебница*, выплывает в стихиях метели; тогда раздается звук колокола, *церковного*, которого не было прежде у Блока:

Ты в белой вьюге, в снежном стоне
Опять волшебницей всплыла,
И в вечном свете, в вечном звоне
Церквей смешались купола[60].

(27 ноября)

Как не похож лейтмотив этой мчащейся в стонущем вихре *"волшебницы"* с лейтмотивом Ее: "Ты — цветешь одиноко. Ты *лазурью* сильна".

Точно знанье о Ней, отлетающее, А. А. силится закрепить в тяжелейшие ризы иконы.

В 1902 году звучит *колокол*, прежде неслышный, для всех оглашая пришествие: "Высок и внятен *колокольный зов*", "Церковный свод давал *размерным звоном* всем путникам напутственный ответ", "Тайна жизни теплится, *благовестны звоны*", "Несутся звуки *колоколен*", "Слышу *колокол*" и т.д. В 1901 году встречи с Нею происходили в полях, а не в храме; теперь эти встречи — в *"церковной ограде"*; Она, замыкая себя в круг материи, опускается в низшие сферы; предметами культа обложены *плотно* все мысли и чувства о Ней; всюду — *церковь* и *храм*, храм — вещественный: "Озарены *церковные* ступени"... "*Ты* здесь пройдешь, холодный камень тронешь, *одетый страшной святостью веков*"... "У *строгих образов*", "*Церковный свод* давал... напутственный ответ", *"В лампадном свете образа"*,

"Мы преклонились у завета, *молчаньем храма смущены*", "Вверху — на *темных куполах*", "Я укрыт до времени в *приделе*", "Мы живем в *старинной келье*", "Кто-то... шепчется у *святой иконы*", "Я знаю: мы в *храме вдвоем*", "*На мирные ступени всходите все*", "Люблю *высокие соборы* душой смиренной посещать", "*Брожу в стенах монастыря*", "И вечно бледный *воск свечей*, и убеленные карнизы", "Ночь долга, как ряд *заутрен* и *обеден*", "Внимай словам *церковной службы*", "*Огонь кадильный* берегу", "И за *церковную ограду*" и т.д. Всюду: церкви, ступени церковные, ризы, лампадки, кадила, заутрени, свечи, карнизы; везде — ограниченность: кельи, приделы, ограды. В приделы, в ограды и в кельи проходит Она; и колеблются *тени* и *мраки* вокруг.

Лейтмотиву колоколов и церковных оград соответствуют лейтмотивы *теней* и *полусумрака;* прогнанный Ею в прозрениях 1901 года, тот сумрак опять настигает. И можно сказать: мглою, тенью и сумраком — переполнены строки Блока: так *золото* и *лазурь* предыдущего года пресуществляются в этом году в *свет* и в *тьму*. Отступление в *тень* есть последствие дерзости — Ее настигнуть, ворваться насильственно в *терем* к Ней:

Я умчусь с огневыми кругами
И настигну тебя в терему[61].

Это написано 18 августа 1901 года, а 24 августа слышится уже последствие "дерзости": "Видно, дни золотые прошли"; и далее:

От себя ли скрывать
Роковую потерю?[62]

Через три дня написано:

Или великое свершилось,
И ты хранишь завет времен
И, озаренная, укрылась
От дуновения племен?[63]

И — нота раздвоенности:

И ты безоблачно светла,
Но лишь в бессмертьи — не в юдоли[64].

Как будто бы дерзостная катастрофическая попытка преобразить мир юдоли отражена духом тьмы; вырывается:

Смотри — я *отступаю* в *тени*.

То тени церквей, стен пределов и келий. И — тень поднимается над 1902 годом: —

— "Бегут *неверные дневные тени*", "Здесь, в этой *мгле у строгих образов*", "Ложится *мгла*", "Сгущался *мрак церковного порога*", "*в тени*

не виделось ни зги", "Из *сумрака*... шаги", "над *сумрачным амвоном*", "И *лестница темна*", "И *сумерки вокруг*", "Там, в *полусумраке собора*", "Там, в *сводах сумрак неизвестный*", "Солнцу нет *возврата из надвигающейся тьмы*", "Там *сумерки невнятно* трепетали", "На *темном пороге* тайком святые шепчу имена", "Когда, *окутанные тенью,* мои погаснут небеса", "Люблю... входить на *сумрачные* своды" (собора), *"Теряясь в мгле"*, "Свет в окошке шатался в *полусумраке — один*" и т.д. "Меняются, *темнеют,* глохнут стены", "Я... всходил... на *темные* ступени", "И *помрачились* высоты", "Я соблюдаю *полутьму*" и т.д. Главным образом эти сумрак и тень наполняют *соборы* и *церкви*.

Вхожу я в *темные храмы,*
Совершаю бедный обряд[65]...

Или:

А *хмурое небо низко* —
Покрыло и самый храм[66].

Появление *сумрака* — появление сумрака в храме, который трепещет сиянием *"красных лампад";* распространяется розовый отблеск и смешивается с погасающей *золотой лучезарностью* 901 года в ту особую, *розово-золотую,* густую и пряную обрядовую атмосферу, в которой таится нетерпеливое ожидание встречи с ней, материализованной в образ, входящий в храм. *Розовое, озаренное заменяет лазурь золотистую,* лучезарную. Розово-золотое есть смесь света с тьмой; вместе с тем: это розово-золотое — нетерпеливость ее ожидания. Характернейшим стихотворением этого времени я считаю стихи, по недоразумению посвященные С. М. Соловьеву:

Бегут дневные *розовые тени.*
Высок и внятен *колокольный зов.*
Озарены церковные ступени.
Их камень жив — и *ждет твоих шагов*...

Ты здесь пройдешь, холодный камень тронешь,
Одетый страшной святостью веков,
И, может быть, цветок весны уронишь
Здесь, в *этой мгле у строгих образов.*
Растут невнятно *розовые тени,*
Высок и внятен *колокольный зов.*
Ложится мгла на старые ступени...
Я *озарен* — я жду Твоих шагов[67].

В приводимом стихотворении проходят главнейшие темы 902 года: *мгла,* зов колокольный и *розовость ожидания* — сейчас, непосредственно (не было нетерпения этого в предыдущем году).

Озарен: "Я озарен", "И путник шел, закатом *озарен*", "И дале шел закатом *озарен*", "А в лицо мне глядит, *озаренный,* только образ, лишь сон о Ней", *"Озарены* церковные ступени", "Брезжит бледная *заря*", "А в лицо мне глядит *озаренный*" и т.д.

"Я озарен — я жду твоих шагов": здесь надежда на невозможную встречу звучит нетерпением, зудом, тьмой страстности, только извне озаряемой, не прозаренной; *прозор*, прожигающий душу, становится озарением — озарением внешнего покрывала пучины страстей; оттого поднимаются ноты хлыстовства.

Нетерпением окрашен весь 902 год: "Я *жду* твоих шагов", "Я укрыт до времени в пределе, но *растут великие крыла, час придет — исчезнет мысль о теле, станет высь прозрачна и светла", "Ждать ли пламенных безумий молодой души?", "Встретить брачными дарами вестников конца?", "Мы помчимся к бездорожью в несказанный свет...", "К нам прольется в двери келий светлая лазурь", "Жду вселенского света", "В ризах целомудрия, о, святая, где ты?", "Жду я", "О, взойди же предо мною не в одном воображеньи", "Я знаю: мы в храме вдвоем", "Гадай и жди", "Она сама к тебе сойдет", "Я, отрок, зажигаю свечи, огонь кадильный берегу...", "Все ждали какой-то вести", "К ночи ждали странных вестей", "Давно мне не было вестей"*, "Я вышел в ночь... *несуществующих принять", "Яснее, ближе сон конца", "Там жду я Прекрасной Дамы в сияньи красных лампад", "Будет день, и распахнутся двери", "Буду я взывать к Тебе: Осанна! Сумасшедший, распростертый ниц", "Разгораются тайные знаки", "Я знаю: Ты здесь. Ты — близко"*... и т.д.

Не следует забывать, что безумные ожидания Ее близости звучат страстными криками в темном храме, слегка озаряемом трепетом красных лампад, — в миг, когда хмурое небо *"покрыло и самый храм"*; ожидание это сопровождается стуками, медиумизмом и спиритизмом. ("О, *как понять, откуда стук*", "Узнать, понять далекий *шорох*, близкий ропот, *несуществующих принять*, поверить в *мнимый* конский топот", *"Все диким страхом смятено", "И на дороге ужас веет", "Войдет подобие лица", "Но были шорохи и стуки"*... и т.д.); представьте себе обуянного исступленным экстазом, твердящего в темном храме средь *"красных лампад"* заклинанье: "Приди, о, приди!" И вам станет понятным страх ждущего, который

... Спрятал голову в колени
И не покажет мне лица[68].

Или:

Прильнув к церковной ступени,
Боюсь оглянуться назад[69].

В таком состояньи понятны слова:

Ты свята, но я Тебе не верю,
И давно все знаю наперед:
Будет день, и распахнутся двери,
Вереница белая пройдет.

Будут страшны, будут несказанны
Неземные маски лиц...
Буду я взывать к Тебе: Осанна!
Сумасшедший, распростертый ниц[70].

И вот — *накатило:* и происходит все то, что предвиделось в стихотворении:

Гадай и жди. Среди полночи
В твоем окошке, милый друг,
Зажгутся дерзостные очи,
Послышится условный стук.
И мимо, задувая свечи,
Как некий Дух, закрыв лицо,
С надеждой невозможной встречи
Пройдет на милое крыльцо[71].

Кто же приходит? Она? Та, которую называл А. А. Девой, Зарей, Купиной, Вечно-Юной, лазурью Сильной?.

Закатная таинственная Дева...[72]

Нет, не Дева уже, а... Жена. Характерно: *"Она"* изменяется в 1902 году у А. А. ("Но страшно мне: изменишь облик Ты...")

И с этой ветхой позолоты,
Из этой страшной глубины
На праздник мой спустился Кто-то,
С улыбкой ласковой *Жены*[73].

Эту Жену, иль "жену" (с маленькой буквы) ждет, как любовницу он:

Истомленный жду я
Ласковую, милую[74].

Он ждет, что —

Забрезжит *брачная заря.*

"Жена" ему шепчет:

Милый, милый, тебя обниму.

Или:

Там жду я *Прекрасной Дамы*
В сияньи красных лампад[75].

Куда же девалась лазурью сильная *Дева*? Прекрасная Дама, Жена, — вместо Девы пришла.

Я соблюдаю полутьму
В Ее... алькове[76].

Как? У владычицы Вселенной — альков? Нет, — просто какая-то *"дама"*; поэтому я не верю эпитету в *"нетронутом"* алькове... И *"дама"* является: и за *"дамой"* следит он:

И я, невидимый для всех,
Следил мужчины профиль грубый,
Ее сребристо-черный мех
И что-то шепчущие губы[77].

Понятно, что после таких ужасающих перемещений сознания воскликнешь:

Ты свята, но я Тебе не верю[78].

И наткнешься, блуждая средь темных подъездов на *"дом"*:

Там в сумерках белел дверной навес
Под вывеской *"Цветы"*, прикреплен болтом.
Там гул шагов терялся и исчез
На лестнице — при свете лампы желтом[79].

Разве не чувствуете, что происходит трагедия, переживаемая хлыстовским сознанием: прозрение подменяется озарением (*лучезарное* — розовым), озарение — исступлением; исступленье — падением отколютой половинки души, или бегством с *горы* инспирации[80] к пресловутому дому *"Цветы"*. Начинается с *"Девы"* ("Я озарен, я жду Твоих шагов"); подменяется далее лик Зари ликом Дамы:

И от вершин зубчатых леса
Забрезжит брачная заря[81].

Следующее по времени стихотворение:

Говорили короткие речи.
К ночи ждали странных вестей.
. . . .
Все ждали какой-то вести.
Из отрывков слов я узнал
Сумасшедший бред о невесте,
О том, что кто-то бежал[82].

Кто бежал? Откуда? Куда? Но отвечает следующее по времени стихотворение:

Сбежал с горы и замер в чаще.
Кругом мелькают фонари...
Как бьется сердце — злей и чаще...
Меня проищут до зари.
. . . .
Мое болото их затянет
Сомкнется мутное кольцо,
И, опрокинувшись, заглянет
Мой белый призрак им в лицо.

Вместо *"брачной"* зари остается:

Холодная черта зари —
Как память близкого недуга
И верный знак, что мы внутри
Неразмыкаемого круга.

Преждевременное озарение светом Духа непросветленной глуби пучин подсознания вызывает огромные бури; встают — двойники (наши низшие страсти), которых не ведаем, отдаваяся голой мистике без духовной науки; когда напрягается свет, — напрягаются снизу темнейшие силы: душа — разрывается.

Лейтмотив двойника подымается в темах поэзии Блока тогда, когда он в нетерпении, упреждая все сроки, пытается настигать в терему свою Музу; двойник — страж порога духовного мира[83]: "*Уже двоилась*, шевелясь, безумная, больная дума" (1902), *"Жду удара или божественного дара"* (1902) (преждевременное порывание к *"дару"* приносит *"удар"*), "И опрокинувшись, заглянет, мой *белый призрак* им в лицо", *"Навстречу мне из темноты явился человек"*, *"И в этот час в пустые тени войдет подобие лица, и будет в зеркале без тени изображенье Пришлеца"*, "И вот, слышнее звон копыт, и белый конь ко мне несется... И стало ясно, *кто молчит и на пустом седле смеется*"... (Конечно же, — мчится, навстречу двойник вместо света Духовного Мира: не проработано подсознание); этот двойник то становится профилем грубым мужчины *("следил мужчины профиль грубый")*, а то он — Иуда *("возник Иуда в холодной маске, на коне")*; [Лейтмотив] *двойника*, возникая впервые в *падении* 902 года, протянут сквозь весь первый том: *"Я знаю все. Но мы — вдвоем. Теперь не может быть и речи, что не одни мы здесь идем, что Кто-то задувает свечи"*, *"Мой страшный, мой Близкий — черный монах"*; этот черный монах притаился в глубинах сознания рыцаря Светлой Музы: то он увлекает его в сумрак красных лампад, выговаривая из него свои страшные тайны:

Боюсь души моей *двуликой*
И осторожно хороню
Свой образ дьявольский и дикий
В сию священную броню.
В своей молитве суеверной
Ищу защиты у Христа,
Но из-под маски лицемерной
Смеются лживые уста[84].

Вытолкнутый из глубины подсознанья вовне, он становится *"черненьким человечком"*, которого понимает А. А. в конце первого тома стихов:

По городу бегал черный человек.
Гасил он фонарики, карабкаясь на лестницу[85].

Это сам рыцарь Дамы:

Я бежал переулками мимо,
И меня проглотили дома[86].

И себя самого видит он в замечательном стихотворении первого тома:

Среди гостей ходил я в черном фраке.
Я руки жал. Я, улыбаясь, знал:
Пробьют часы. Мне будут делать знаки,
Поймут, что я кого-то увидал.
Ты подойдешь. Сожмешь мне больно руку,
Ты скажешь: "Брось. Ты возбуждаешь смех".
Но я пойму — по голосу, по звуку,
Что ты меня боишься больше всех...
Я закричу, беспомощный и бледный,
Вокруг себя бесцельно оглянусь.
Потом — очнусь у двери с ручкой медной,
Увижу всех... и слабо улыбнусь[87].

Он видит того, кто жил в нем, но кто, убежав из него, стал гасить все *"фонарики, карабкаясь на лестницу"*. Но раздвоение — необходимо; оно оттого, что душа посвященного в свете Ее (дева) — уже родила искру духа: *"младенца"*.

Звезда-предвестница взошла,
Над бездной плакал голос новый —
Младенца дева родила[88].

Младенец, рожденный от девы, есть рыцарь, живущий в приделе Иоанна:

Я их хранил в приделе Иоанна,
Недвижный страж, — хранил огонь лампад.

И вот — Она, и к Ней — моя Осанна —
Венец трудов — превыше всех наград[89].

Это — часть высших, светлых способностей, продолжающих в горних светах Ее созерцать и в *лазури*, и в *золоте* солнца в то время, когда в низших сферах сознания совершается страшная схватка с собою самим. "Постигли *солнечные волны*", "В лучах *божественного света* улыбка вспомнилась", *"Остерегающий струился свет"* (1902), *"Высь прозрачна и светла"* (1902), "Смотри, как *солнечные* ласки в *лазури* нежат строгий крест" (1902), "В *несказанный свет"* (1902), "Верю в солнце завета" (1902), *"Непостижного света задрожали струи"*, "Ярким *солнцем* залитая шла Ты" (1902), "Крылатых слышу голоса" (1902), "Я возвращусь к Тебе" (1902), "Не понять *Золотого Глагола* изнуренной железом мечте" (1902), "Восстав от тягостного сна перед Тобою, Златокудрой, склоняю долу знамена", "Душа блаженна, Ты близка", "Навеки преданный Святыне во всем послушаюсь Тебя", "Подходя к *золотому* порогу, затихал пред Твоими дверьми", "Светлый меч нам вскроет двери *ослепительного* дня".

Или:

Что мгновенные бессилья?
Время — легкий дым...
Мы опять расплещем крылья,
Снова отлетим.
И опять, в безумной смене
Рассекая твердь,
Встретим новый вихрь видений,
Встретим жизнь и смерть[90].

Изумительные переживанья и образы первого тома стихов проплетаются острою, яркою, изостренною мыслью. Напрасно считают А. А. — певчей птицей; он — певчая птица, но — мудрая птица; и — даже: в нем песня от мудрости; мудрость, софийность в А. А. не ограничивается сверхсознанием; она простирается в сферу рассудочную, подавая порой нам поводы мыслить, что много трагедий А. А. в сфере внутренних опытов произошли от излишнего интеллектуализма его, не позволяющего мысли небесной, Софии, вструиться в мысль мозга (в мысль Канта). Сухое внимание интеллектуалиста сопровождает порой интуицию Блока, раскалывая ее; и — он говорит:

Сухим вниманьем я живу.

Или:

Мой монастырь, где я томлюсь безбожно, —
Под зноем разума расплавленный гранит[91].

Этою мыслью он числит: "И — *числю, числю* без тебя".

Я не достигну примиренья,
Ты не поймешь проклятых числ[92].

Или:

И, многовластный, числю...

Это счисление утомляет А. А.

Где новый скит? Где монастырь мой новый?
Не в небесах, где гробовая тьма,
А на земле, — и пошлый, и здоровый,
Где все найду, *когда сойду в ума*[93].

Но с ума А. А. все ж не сходит, ибо в нем самосознание живо; оно обнаруживает ему грань меж рассудком и разумом, меж умом и Софией, меж мирознанием и Богопознанием:

Передо мною — грань Богопознанья,
Неизбежный сумрак, черный дым[94].

И, прибавлю от себя, — страх беспредельности, осознанный — им, как основа холодного кантианского мышления в пределах; недаром в стихотворении, посвященном Иммануилу Канту, он пишет:

Сижу за ширмой. У меня
Такие крохотные ножки...
Такие ручки у меня[95].

Эти ширмы — граница образования кантианских понятий. Свет дневного рассудка *("И числю, числю")* — здесь гаснет. Но он углубляется самосознанием в сумрак:

Углубись еще бесстрастней
В сумрак духа своего[96].

И тогда этот сумрак свободно *синеет* премудростью зарассудочной мысли, глубинностью мысли Софии:

Ты сильна, царица, глубинностью,
В твоей книге раззолочены страницы[97].

И он проходит в сферы *"царицы, ищущей смысла"*, у которой *"синие загадки"*; здесь постигают тайны кипучие живомыслия:

Никому не открою ныне
Того, что рождается в мысли.
Пусть думают — я в пустыне
Блуждаю, томлюсь и числю[98].

Но — *"ширмы"* Канта отставлены; страх пред живой, кипучею мыслью преодолен; и он знает Гетево "Stirb und Werde"[99]:

Здесь печально скажут: Угас.
Но там прозвучит: Воскресни.

И уже тут начинается мудрость:

Иду за Тобой —
Мне путь *неизвестный ведом*[100].

Это путь к Мудрости, к синим ночам живомыслия, где

Протекали над книгой Глубинной
Синие ночи царицы[101].

Здесь *синие* волны свободной, безмерной духовной конкретности, или софийные мысли:

Киваю *синему* раздолью,
. . . .
. . . . .пустыней
Несусь в пылающем бреду,
И в складки ризы *темносиней*
Укрыл любимую звезду[102].

Темно-синие ризы — Ее; а — звезды есть звезды нераскрывшейся, издали слышимой инспирации:

Отворилось облако высоко,
И упала Голубиная книга.
А... *из лазурного ока*
Прилетела воркующая птица[103].

Воркующая птица есть мудрость, не знающая кантианских пределов, или — мысль—собственно. И доверием к мудрости, к мысли под коростой внешнего исчисления дышит ряд строк.

Лишь единая мудрость достойна
Перейти в неизбежную ночь[104].

Остальному в себе сказать надо решительно: "Strib".

"Strib und Werde"

Что "Werde"?

Отрекись от любимых творений,
От людей и общений в миру,
Отрекись от мирских вожделений,
Думай день и молись ввечеру[105],

Чтоб —

... дух на *грани* пробужденья
Воспрянул, вскрикнул и обрел
Давно мелькнувшее виденье[106].

Вспыхивают огни мысли.

Мои огни горят на высях гор,
Всю область ночи озарили,
Но ярче всех — во мне духовный взор
И Ты вдали...[107]

Мысль освещает неосвещенную область ночи, а вера, соединенная с знаньем — ведет.

Медленно, тяжко и *верно*
Мерю ночные пути:
Полному веры безмерной
К утру возможно дойти[108],

Потому что —

Нет меры нашему познанью...[109]

Потому что —

Погибла прежняя ложь
И близится вихрь видений[110].

Но это для того, кто умеет сочетать в мудрости жизнь и Любовь:

Как с жизнью страстной я, мудрый царь,
Сочетаю Тебя, Любовь[111]?

Сочетают несочетаемое — терны страданий.

Терны венчают смиренных и мудрых
Белым огнем Купины[112].

Здесь Мудрость и *"антропос"* (человек) — *антропософически* слиты:

Она и ты — один закон,
Одно веленье Высшей Воли[113].

О том гласят письмена:

Я вас открыл, святые письмена.
Я вас храню...[114]
. . . .
Со мной всю жизнь — один Завет:
Завет служенья Непостижной[115].
. . . .
Навеки преданный Святыне
Во всем послушаюсь Тебя[116].

Это знанье истоков пути, превращающее *синеву в леса ангельских крылий* (опять выраженье Блока), его наделяет особою, тайною силою знания.

Ты нездешней, видно, силой
Наделен и окрылен[117].

Или:

Я — меч, заостренный с обеих сторон.
Я правлю, Архангел, Ее Судьбой.
В щите моем камень зеленый зажжен.
Зажжен не мной — Господней Рукой[118].

В высотах сознанья А. А. обитала высокая мудрость, не проплавленная в мелочи жизни и их не сумевшая переплавить: в вопросе переплавленья жизни А. А. упреждает все сроки; и оттого-то — трагедия всей крестной жизни поэта.

Печать тайной мудрости заставляет поэта высказывать: *"Я, изнуренный и премудрый"*, *"Я знаю все"*, *"Сосчитал, что никому не дано"*...

С детских лет он "искал таинственных соцветий и, *прозревающий едва*, еще шумел, как в играх дети". "В тихом воздухе — тающее, *знающее*"...

Это *"знающее"* он таит про себя:

Я скрыл лицо, и проходили годы.
Я пребывал в Служеньи много лет[119].

Или: "Молчаливые мне понятны и люблю обращенных в слух; за словами — сквозь гул невнятный просыпается светлый Дух". Или: "Но во мне — *потаенное знанье*". Или: *"Никому не открою ныне того, что свершается в мысли"*, потому что *"одна... отражается в каждом слоге"*. Или: "И в складки ризы темно-синей *укрыл* Любимую Звезду". Стих для поэта — завеса, Ее укрывающая, иль порог, не позволяющий заглянуть за черту.

Поставлю на страже звенящий стих.

Так что слова поэта есть "Меч, заостренный с обеих сторон"; не поэт, а — пророк он: *"Мне в сердце вожгли красноватый уголь пророка"*.

И пророчественными строками порою он дышит; так, разве строки, написанные до войны и пожаров общественных, — не пророчество?

Мой конец предназначенный близок,
И *война и пожар — впереди*[120].

Или: разве строки 98 года[121] — не явный прозор:

Вещает иго злых татар,
Вещает казней ряд кровавых,
И трус, и голод, и пожар,
Злодеев силу, гибель правых.

Но эти прозрения, тайная мудрость, ему доставались наградою за неимоверную боль повседневного умирания; и криком боли сопровождает прозренья он:

"Веселий не надо мне"... "Солнцу нет возврата"...

После Видения, уму непостижного, — чувство пустыни, страдания, умирания: "Избрал иную дорогу я, — иду — и песни не те"...

Какие же песни теперь? *"Было сладко знать о потере, но смешно о ней говорить", "Ужасен холод вечеров", "Смотри туда — в хаос безмерный, куда склоняется твой день", "Помрачились высоты"; "Отлетело Виденье, захлопнулись двери", "Пускай другой отыщет двери, какие мне не суждены"... "Не понять Золотого Глагола", "Догорающий факел закинь", "Я искал голубую дорогу и кричал, оглушенный людьми", "Все забылось — забылось давно", "Я один. Я прощу. Я молчу", "Сердце несчастно", "И пробуждение мое безжеланно", "Мне больше не надо от Вас ничего: я никогда не мечтал о чуде", "Днем никому не жаль меня — мне ночью жаль мое молчанье", "Молчаливому от муки шею крепко обойму"*; все пути к восхождению обрывались для Блока порою:

И глухо заперты ворота,
А на стене — а на стене —
Незримый Кто-то, черный Кто-то
Людей считает в тишине[122].

Слово *Черный* теперь подымается, как излюбленное в 1903—1904 годах, в конце первого тома: "Бегал *черный* человек", "*черный человечек* плачет", "у вас было *черное*... платье", "*черный* кто-то", "ходил я в *черном* фраке", "под копытом *чернела* вода", "в *черной* воде отраженье неслось", "*черная* ночь... увлекла" и т.д.

Все *чернеет* оттого, что

Ревную к Божеству, Кому песни слагаю,
Но песни слагаю — я не знаю кому[123].

В конце первого тома везде грусть о Прошлом Видении. Сперва поэт смотрит на будущее; но будущее в конце первого тома уже за плечами; и — поднимается нота *прошлого* (с 182-й страницы[124]); до — нет этой ноты: "Мы пропели и *прошли*", "Ушел по той же тропинке, куда *уходило вчерашнее*", *"А я забыла вчерашнее", "Все забылось, забылось давно", "Дела свершились"*, "И дни *забылись*", "И поднимаются *прошлые* сны", "Мне *снилось*, что я не один", "У забытых могил пробивалась трава. Мы *забыли вчера... И забыли слова...* И настала кругом тишина", "*Забудьте* про него" (про чудо), "То, что *свершилось*, — свершилось в вышине", "Этой повестью долгих, блаженных исканий полна моя душная песенная грудь", "Из этих песен я *сделал* созданье", "Я знаю, не вспомнишь Ты, Светлая, зла, которое билось во мне, когда *подходила* Ты, стройно-бела, как лебедь к моей глубине", "Я давно не встречаю румянца", "Ты *отошла*, не дав ответа, а я уснул, к волнам сойдя", *"Непробудная... Спи до срока"*; Видение умерло. В нем умерла она.

Вот он ряд гробовых ступеней
И меж них — никого. Мы вдвоем.
Спи ты, нежная спутница дней,
Залитых небывалым лучом.
Ты покоишься в белом гробу.
Ты с улыбкой зовешь: не буди.
Золотистые пряди на лбу.
Золотой образок на груди[125].

Первый том — потрясенье: стремительный выход из лона искусства; и — встреча с Видением Лучезарной подруги; и — далее: неумение воплотить эту встречу, обрыв всех путей; и — вторичное присягновение искусству как сфере, высвобождающей из страдания; какой красотою и болью рисует природу он после катастрофы, произошедшей с ним:

Свобода смотрит в синеву.
Окно открыто. Воздух резок.
За желто-красную листву
Уходит месяца отрезок.
Он скоро будет — светлый серп,
Сверкающий на жатве ночи.
Его закат, его ущерб
В последний раз ласкает очи.
Как и тогда, звенит окно,

Но голос мой, как воздух свежий,
Пропел давно, замолк давно
Под тростником у прибережий,
Как бледен месяц в синеве,
Как золотится тонкий волос...
Как там качается в листве
Забытый, блеклый, мертвый колос...[126]

Стихотворения, подобные приведенному, останутся вечными образцами для настоящих, прошедших, грядущих поэтов; но "вечное" здесь высекается — болью, молчанием, внутренним знанием. Это молчание, знание — лейтмотив, подымающийся в 1903—1904 годах после Видения 901 года и срыва 902-го: *"Настала тишина, и голос важный, голос благосклонный запел вверху, как тонкая струна"*... Этот голос есть внутренний голос, уподобляемый сократову демону[127]; он и диктует А. А. его кованые, бессмертные строки: *"Молчаливые мне понятны"*, "Ты сильна, Царица, *глубинностью*", "Люблю обращенных в слух", "Во мне — *потаенное знание*", "Никому не открою ныне", "Я тайну блюду", "Все, что в сердце твоем туманится, станет *ясно в моей тишине*", "Я не скрываю, что плачу, когда поклоняюсь, *но, перейдя за черту человеческой речи, я молчу*"... "Кто-то Сильный и Знающий... *замкнул Вам уста*"... "Мы мало говорили, но *молчанья были глубоки*"... "Мы поняли, что *годы молчанья были ясны*"... *"Тишина озаренных"*, *"Тишины снегового намека, успокоенных дум не буди"*... "Кто бунтует — в том сердце щедро, но *безмерно прав молчаливый*"... и т.д.

И молчание знания, добытого через смерть, высекает в поэзии Блока черты того внутреннего реализма, который видит глубинное во внешнем; реалистическая струя к концу тома стремительно крепнет; появляются: *"Желтые полоски вечерних фонарей"*, *"На Вас было черное закрытое платье"*; и растет наблюдательность: "Ей было пятнадцать лет. Но по стуку сердца — невестой быть мне могла"... "Белые священники с улыбкой хоронили маленькую девочку в *платье голубом*"... "Темная, бледно-зеленая детская комната. Нянюшка бродит сонная"; появляется фабрика, появляется география мест ("Мы шли на Лидо"...), появляются стихотворения из газет: "Приходил человек с *оловянной бляхой на теплой шапке*"... "Лошадь *влекли под уздцы на чугунный мост*"..., *"Везли балаган"*; вычерчиваются бытовые подробности: "Сладко... в мягком, стеганом халате перебраться на кровать". Появляется выписка образа, удивительная по отчетливости: *"Зайчик розовый заплящет по цветочкам на стене"*, "В золотистых перьях тучек танец нежных вечерниц"; образы получают от этого выпуклость:

Всадник в битвенном наряде,
В золотой парче,
Светлых кудрей вьются пряди,
Искры на мече.
Белый конь, как цвет вишневый,
Блещут стремена...
На кафтан его парчовый
Пролилась весна...[128]

Но Блок крепнет в своей поэтической мощи ценою страданья, ценой безглагольного тайного подвига антропософских исканий своих, не слагаемых в слово.

Стихотворения о *"Прекрасной Даме"* — эпоха в поэзии русской; ни Брюсов, ни Бальмонт, ни Вячеслав Иванов не дали своей суммой книг того мощного напряжения поэзии, которое нас встречает в одном первом томе А. А. 1904 год есть действительно праздник в поэзии русской.

И прав был, конечно, сектант, мне сказавший: "У нас есть один лишь поэт, но поэт — гениальный: поэт этот — "Блок".

Впечатление от вышедшей книги стихов лишь суммировало пережития трех последних годин; стихи Блока, вошедшие в книгу, переживали мы прежде; еще до печатанья: все стихи А. А. этого времени попадали в Москву, где они распространялись в литературных кружках модернистов. Но, помнится: *"Грифы"* (писатели, сгруппированные вокруг книгоиздательства "Грифы") относились к поэзии Блока теплей, горячее, чем *"Скорпионовцы"*; в книгоиздательстве *"Скорпион"* доминировал Брюсов; и влияние начинающих оттеснялось влиянием Брюсова, считавшего самого себя естественным и единственным поэтическим королем; К. Д. Бальмонт, наиболее популярный поэт модернистов в книгоиздательстве *"Скорпион"* признавался, ну так сказать, *"Мэтром"* почетным, а не действительным; В. Иванов, в Москве импонировавший эрудицией, красноречием и годами (он был старше всех), был в кругу *"Скорпиона"* в то время естественным заместителем *"Мэтра"* Брюсова; Брюсов, Бальмонт, В. Иванов и были поэтами "Скорпиона" par *excellence* в те года; Блок был — "младший"; и — недостаточно *"скорпионовский"*, чуждый по духу. Поэтому во всех оценках поэзии Блока в кругу *"Скорпиона"* проскальзывал непередаваемый оттенок холодного вынужденного признания:

— Хороший поэт, очень-очень хороший поэт, но...

И чувствовалось, что "но" продолжается в фразу:

— Но... Брюсов, во-первых... Бальмонт и Иванов... Хороший поэт, но... нас, скорпионовцев, не удивишь им: мы — сами с усами...

Так, центр почитателей Блока в Москве сформировывался естественно где-то меж *"Грифами"* и *"Аргонавтами"*...

Широкая публика вовсе не знала поэта; газеты — ругнулись на книгу.

В московских кружках

Этой осенью (1904 года) я вновь поступил, механически как-то, на филологический факультет; и оказался теперь однокурсником с моим другом С. М. Соловьевым; среди товарищей, филологов первого курса, я помню поэта В. Ф. Ходасевича[129], литератора и поэта Б. А. Садовского[130], любителя-знатока утончений классической филологии В. О. Нилендера, философа-когенианца Гордона[131], Б. А. Грифцова[132]...

Ночная фиалка

То было в Москве уже.

Все кипело, как в кратере. Революция захватила; "Аргонавты" сносилися с социал-демократами через Эллиса; Эллис забыл, что он стал символистом; притаскивал он нелегальных; и заставлял: читать Маркса. В Университете шел митинг; и предлагались платформы для выражения отношенья студентов к событиям; две платформы — гласили: одна — превратить Университет в революционную трибуну: для агитации; закрыть его; а другая гласила: оставить занятия, для часов, освобожденных от митингов.

Помню: на астровских средах являлись растерянно к нам и общественники; появлялся порой Челноков[40] (был поздней городской голова он); но позиция Астровых нам казалася правой; я, Эллис, Петровский, — склонялись к меньшевикам; Соловьев — был эсером; Сизов и Н. П. Киселев — анархистами; вращался в то время Семенов меж нами; проездом застрял он в Москве; он бывал у меня и на астровских средах; они ему нравились (я отходил уж от Астрова); на похоронах Трубецкого он бурно расталкивал толпы, устраивал цепь; были вместе мы.

Но расклеили прокламацию Трепова[41]. Она так задела меня; я стремительно бросился к Астрову — требовать: бойкот офицерам; но — встретил: решительное несочувствие; это меня отдалило от астровского кружка; я, Петровский и, кажется, М. И. Сизов очутились в Университете, чтоб с кафедры провозгласить офицерам бойкот. Но — до бойкота ли? Провозглашалась Россия республикой; и — указывалось: быть на площади нам, перед Думой. С А. С. Петровским решили: пойдем!

И я был перед Думою; вместо толп я увидел лишь жалкую кучку: десятка два-три: то — студенты, курсистки; конями плясал эскадрон добродушных сумцов; я прождал: надоело; пошел по Тверской я — к кофейне Филиппова; там посидел минут десять; и — стал возвращаться на площадь; но — выстрелы, крики; от площади вижу — бегут, заворачивают в переулок; не помню, как я очутился на стоптанном университетском дворе; и — заваливали ворота; то было начало университетской осады; казаки отрезали революционеров-студентов от внешнего мира; мне дали особое поручение: выйти в Москву собирать провиант; и мне помнится: я летал по знакомым; и собирал, где мог, деньги; я возвращался к Университету; из переулков выглядывали казаки; в университетских воротах оставили узкую щель для прохода; входил: Боже мой, — что за вид!

На дворе, среди слякоти, ярко пылали костры; у костров раскаляли железные прутья разобранной университетской решетки; увидел Петровского, раскалявшего на костре тяжелейшую трость; а на крыше Университета стояли студенты с сосудами кислоты: обливать; в лаборатории фабриковалися бомбы.

Я выскользнул через щель и отправился к Астрову, чтобы встретиться с Эллисом: мы должны были ехать в какой-то салон к фабриканту Дукату[42];

всеобщая забастовка уже разразилась[43]; и — пробирались во тьме, через рельсы; нас окликали: мы крикнули:

— Это свои!

Почему так решили? И — почему нам поверили? Я — не знаю.

Так очутился у фабриканта Дуката; в салоне пустом; не состоялася лекция; и никто не приехал; поехали к Университету, обратно.

Не вспоминаю я: забастовку, провозглашение манифеста[44]; и — проводы Баумана[45].

Поднимался чудовищный террор; на улицах нападали; в унынии вспомнилось, что поссорился с Блоками, что разорвал — навсегда; бесконечная грусть охватила меня; я не знал, что мне делать. Писать, — остановилася почта.

В те дни я присутствовал на концерте д'Альгейм; мы в гостинице (кажется в "Дрездене") сошлись у артистки; здесь я познакомился с Асей Тургеневой[46] и с Наташей Тургеневой[47]; помню, — они мне понравились; с Асей — соединил меня жизненный путь; это было позднее уже.

Все забыв, не умея дождаться конца забастовки, попал в Петербург[48].

Остановился на Невском я, в меблированных комнатах; и написал я письмо Блоку; писал: расхожденье меж нами, — невнятица; ее следует прояснить не письмом, а свиданием; если расходимся, пусть же решение разойтись будет нами естественно решено; если то, что случилось — случайность, тогда ликвидируем ссору; назначал свидание А. А. и с Л. Д. в ресторане у Палкина[49]; в этот день я расхаживал нервно по номеру комнаты; я сознавал, что письмо, прерывающее общение, — резкость и вспыльчивость, подымающиеся внезапно во мне; ведь недаром писали когда-то в газетах, что я, *"Андрей Белый", весь в скандалах всегда поседелый"*.

С волнением вечером я сидел в большом зале у Палкина — средь переполненных столиков; помню, с эстрады запели кровавые неаполитанцы; вдруг: издали замечаю А. А. и Л. Д., пробирающихся по залу; при взгляде на них понял, что между нами вернулось все прежнее, милое, доброе; четко запомнилась мне: очень стройная фигура студента с высоко закинутой головой и с открытыми перед собою глазами, — бредущая тихо меж столиков; и — отыскивающая глазами меня; впереди шла Л. Д., похудевшая, в черном платье, какою-то нервной походкой, с опущенной головою. А. А. увидал меня, ласково улыбнулся — улыбкой, которую я не видел в свой последний приезд к нему: любящей, братской улыбкою; и такою ж улыбкою расцвела мне навстречу Л. Д.; в тех улыбках, мне брошенных, в ресторане у Палкина под протяжное пение неаполитанцев, — свершилось решительное объясненье меж нами; улыбки сказали, что — объяснения нет; факт приезда, письмо, — объяснение.

Так мы сидели; и мы — пили чай; мы растерянно улыбались друг другу, сконфуженные, как ... дети, которым — *"досталось"*; А. А. нас оглядывал с видом, который хотел объяснить:

— Поиграли в разбойники: будет — довольно!

И становилось — уютно, смешно; в А. А. вспыхнул былой юморист: прекомически в жестах припоминал он, как мы превратились в *"испанцев"*, бросающих вызовы; и казалось: гроза — пронеслась.

Атмосфера расчистилась; в долгих общеньях с А. А. и с Л. Д. было что-то от атмосферы, от нас независимой, необъяснимой реальными фактами биографии; вдруг становилось всем радостно и светло, — так светло, что хотелось, сорвавшися с места, запеть, завертеться, захлопать в ладоши; а то начинало темнеть — без причины; темнело, темнело, — темнели и мы под тяжелыми, душными тучами; тучами неожиданно обложило нас Шахматово в 905 году; наоборот: туч почти не видали мы в ноябре—декабре в Петербурге. Я помню, что раз, возвратившись от Блоков, у Мережковских от беспричинной меня охватившей вдруг радости я устроил сплошной кавардак, взявши за руки Т. Н. Гиппиус и вертясь с ней по комнатам; бросив ее, завертелся один я, как *"derviche tournant"* [50] в кабинете Д. С. Мережковского; тут с разлету я опрокинул блистающий, прибранный столик, сломав ему ножку; как раз позвонили: и — неожиданно появившись в дверях, Мережковский застал меня, совершающим преступление (ломку столика); и — ясное дело: поступок такой объяснился *"радением"*, — не веселою молодостью и не желанием подурачиться: теоретические обоснования тотчас же были подстроены для объяснения шалости; оказалося: это — следствие сиденья у Блоков: то следствие *"завиваемой пустоты"* (так я стал *"завивателем"*).

И, выпучивая глаза на меня, не без испуга, Д. С. обращался ко мне с увещательным словом:

— Да бросьте же, Боря, — безумие!

— Помню, — обиделся: *"Белому"* заповедано веселиться и быть безвопросным?

Впоследствии, углубляясь в особенность мира поэта, я понял, что кроме явных естественных объяснений изменности настроений меж нами, необъяснимое что-то осталось: в А. А. было что-то, что — действовало; настроением он меня заражал; он носил атмосферу: то — *ту*, а то — *эту;* то — розовато-золотую, а то — фиолетово-серую; сам он любил выражать настроенья цветами; с капризностью он подбирал цвета букв для отдельных томов сочинений своих; он подробнейше мне объяснял, что заглавная буква к стихам о *Прекрасной Даме* должна быть карминного цвета, таких-то оттенков; а том второй может только окраситься ярко-зеленой заглавною буквою; третий том есть — том *синий*, такого-то только оттенка; и синий оттенок тот — страшный; в *цветах* изживал он стихию переживаний своих, опознавал он стихии цветами; все более, более отдавался стихиям; они начинали овладевать; и А. А. становился под действием их переменнее, нетерпеливее: после грустного факта: она — *"отошла без возврата";* во внешнем же он оставался по-прежнему: и корректным, и вежливым, поражая отчетливым построением эпиграмматических фраз, произнося свое "чтобы" без повышения голоса, точно придушенного, деревянного и глотающего окончания, отдающие в "Н", в "М" и в "И"; в разговоре не двигался он, не образуя одеждою складок; сидел очень прямо, почти не касаяся кресла; лишь изредка наклонялась его голова; и — протяги-

валась рука с портсигаром; когда перед ним собеседник вставал, то — А. А. вставал тоже; выслушивал стоя, открывши глаза — голубые свои фонари — в разговоре; та же выправка, статность и выраженье *"хорошего тона"* лежали на нем. Но под формой держать себя чувствовалось изменение: чувствовались — неуверенность, боль и порою капризность (как в Шахматове в 905 году); *"атмосфера небесности"* от случайного жеста могла занавеситься серо-лиловым туманом, восставшим от *"Блока"*; в застенчивом движеньи большой головы, растерявшейся голубыми глазами, — отчетливо значилось: глаза — помутнели; курчавая шапка густых, очень мягких волос не казалась курчавой, как прежде; рыжевший отлив — пропадал; и казался: не пепельно-рыжеватым, а — пепельным; появились морщинки у глаз, уходящих в мешки под глазами; прорезалась явственней поперечная складка на лбу; и отчетливей, чувственней губы пылали; и сила стихийности, — не таясь, разливалась мощней — переменною атмосферою: не *розово-золотою*, а *серо-лилово-зеленою;* где — была лучезарность? Перегорали остатки духовных загаров; и — побледнело лицо; и движенье одно подчеркнулось, усилилось: сидеть молча с зажженною папиросой; и — вдруг: не без вызова, не без удали нарисовать лицом линию вверх, выпуская из губ над собою струю дымовую; в одном этом жесте мне виделось: удаль таимых капризов.

Не раз я впоследствии анализировал восприятия впечатлений от Блока; они рисовали отчетливо разделенные образы; вот Блок — уютный, домашний, меня заставляющий выговариваться, проницающий *всепониманием;* вот — *Блок* другой: кто мог быть неприятней, капризнее? Бессловесная глубина в нем могла обернуться рисовкой невнятицы, даже *"идиотизма"* какого-то; говорили впоследствии мы с Соловьевым о злом выражении лица у А. А.: идиотически злом, не могущем ответить на ясные доводы логики; да, такой *"Блок"* представлялся Ставрогиным; красота его самая нам казалась — *"ставрогинской"*, и наивность — рисовкой. С. М. раз цитировал строчки:

Нежный! У ласковой речки,
Ты — голубой пастушок.
Белые бродят овечки,
Круто загнут посошок[51], —

— Он воскликнул:

— Идиотизм, а не детскость... А все — умиляются; говорят *"как наивно"*, не понимая, что эта наивность — нахальство уверенного самодура, давно осознавшего: всякую чепуху его примут, как глубину, а первичные ассоциации мысли, как символы!

Критикуя поклонников Блока, С. М. обращался к себе самому: ведь он именно относился к А. А., как к *"глашатаю"*; а когда А. А. Блок не хотел быть *"глашатаем"*, то С. М. упрекал *"мирового глашатая"* в подстановке под мудрость идиотизма.

Каким Блок казался непереносным, обидным, намеренно унижающим, — в дни разрыва с ним! И — сострадательным, ласковым в дни сближений; меж тем: и внимание, и унизительная небрежность — не выражались никак:

предупредительный, малословный, нетороплиный; ты встанешь, — он встает; садишься — опустится, молча подаст портсигар...

Но я — понимал С. М. Соловьева; я сам испытал не однажды необъяснимую оскорбительность для себя одного появления предо мною А. А.; так, в эпоху, когда не видались мы, на петербургских проспектах, среди толкотни пешеходов увидел я шедшего мне навстречу А. А.; он, зажав в руке трость, пробежал в бледно-белом своем панама́, быстро-быстро, — прямой, деревянный, как палка, с бескровным лицом и с надменным изгибом своих *оскорбительных губ;* он не видел меня; этот жест пробегания с тросточкой на петербургском проспекте тогда показался — венцом униженья; в душе отдалось:

— Как он смел не заметить?

А белая панама́, щеголеватая тросточка — были ударом по сердцу:

— Что, как — панама? Как он смеет?

— Скажите, пожалуйста!

— Это — что?

— Что за дерзость!

В период сближения — не было меры в желании умалиться — пред ним, сделать все для него, уступить ему место; а этого он и не требовал; он — удивлялся: и резкому гневу, и резкой восторженности:

— Ты — смешной!

Разговор в ресторане у Палкина — в нем заложены новые вехи общения нашего; эти общения (общение А. А. и Л. Д. со мной и с С. М.) напоминали сношенье иностранных держав; перекрещивалось три направления в них: будущего петербургского символизма, сгруппированного вокруг "Ор", с направлением московского символизма, которого выразителем я был, с теологическим устремлением Соловьева. У Палкина мы решили: распадался *"вселенский собор";* и С. М. не войдет в наше *"Мы";* предоставляя свободу общений с С. М., и А. А., и Л. Д. подчеркнули: они не приемлют его. Распадение *"тройственного"* союза приканчивает эпоху моих *"теургических"* устремлений; в союзе *"вдвоем"* (А. А., я) был исход совершенно естественному художническому устремлению; никакие философы будущего *("Лапаны", "Пампаны")* уже не учили нас жизни; то творчество жизни, которое мы утверждали, сводилось к импровизации, к новой *Commedia dell'arte*[52]; безудержный артистизм подстилал нашу дружбу; сказали друг другу:

— Так будем играть; и во что бы ни выразилась игра, — ее примем.

Я чувствовал: с разговора у Палкина был естественно принят в *"игру";* победило — доверие; в сущности, вместо *"мистерии преображения мира"* мечтали теперь о *"мистерии преображения мига";* С. М. Соловьев для А. А. оказался тяжел.

То — последствия узнавания, что *Она* — *"отошла без возврата";* и — стало быть: оставалось брать жизнь без Нее; как период *"Прекрасной Дамы"* расцвел мне статьями: *"Луг Зеленый"*, *"О целесообразности"*, *"Священные Цвета"*[53], *"Апокалипсис в русской поэзии"*; так: этот период сказался статьями: *"Песнь жизни"*[54], *"Искусство"*[55]: и как идеологом чаяний был наш *"мифот-*

ворец", философ *"Lapan"*, так теперь: я при помощи видоизменения Риккерта и сочетанья его с ницшеанством пытался создать философию жизненных ценностей; и развивал Блокам мысли статей: *"Фридрих Ницше"*[56] и *"Феникс"*[57].

Как бы говорил себе: Ее — нет! Не придет! Что же, будем — героями, Зигфридами![58] Будем же высекать жизнетворчество; настроение такое складывалось в А. А. Оно выразилось впоследствии в строках:

О, весна без конца и без края,
Без конца и без края весна;
Узнаю тебя жизнь, принимаю
И приветствую звоном щита.[59]

Все *"заветы"* Владимира Соловьева тем были нарушены; в нарушеньи заветов, быть может, супруга поэта сыграла не малую роль; мы считали *"хранительницей заветов"* ее; устремления к духу музыки, к импровизации, к превращению *"неизреченного"* в театральный мимический жест и в *Commedia dell' arte* в Л. Д. перегибали *"мистерию"* к сцене; желание стать артисткою сказывалось все более; так она повлекла за собой и А. А., и меня: к артистизму, к импровизации; в А. А. просыпалась любовь к сцене; еще гимназистом А. А. играл Гамлета[60], а Л. Д. — изображала Офелию.

Лозунг, который в то время меж нами подчеркнут *("Так будем играть")*, может быть, — бессознательное тяготение к сцене Л. Д. И, быть может, естественное созревание в А. А. — *"Балаганчика"*.

В то время Л. Д. увлекалася Вагнером; часто А. А. и Л. Д. посещали в те дни представленья *"Кольца"*, восхищаясь Зигфридом — Ершовым[61]; мы слушали вместе *"Валькирию"*[62]; звуки *"Валькирии"* пересекались со звуками, извлекаемыми меж нами; да, кто-то из нас был Вотаном[63]; и кто-то, наверное, — Зигфридом; явно: в Л. Д. проявлялись отчетливо жесты Валькирии[64]; героическая атмосфера подогревалась разгаром революционной горячки; героем казался мне Савинков[65], о котором я знал, что он тайно живет в Петрограде (о Савинкове я слышал от А. М. Ремизова[66] и от З. Н. Гиппиус).

По примиренью с А. А. и Л. Д. переехал опять к Мережковским; и потекла та же самая жизнь; рассуждения религиозной общественности, заседанья с Бердяевым, с *"Димой"*, с А. В. Карташевым; в то время С. П. Ремизова-Довгелло[67] сошлась с Мережковскими.

Так же бывали у Розанова, у Сологуба, как в прошлом году; Сологуб был отчетливо революционно настроен; переписывались стихотворенья-памфлеты его; и один мне запомнился:

Стоят три фонаря для вешанья трех лиц:
Середний — для царя, а с краю — для цариц...

Никогда не забуду я первую встречу свою с А. М. Ремизовым; он меня — напугал; возвращаюсь от Блоков, вхожу в гостиную Мережковских, — и вижу: с дивана привстал очень маленький сутуловатый такой господин;

и сверля из-под стекол очков проницательным взглядом, с усмешечкой сказал он:

— Я — знаю вас!

Сделав из пальцев руки то, что детям показывают *("козу")*, он, согнувшись, стал наступать на меня, приговаривая:

— Вот — коза, коза!

А З. Н. рассмеялась:

— Ну — вот, познакомьтесь; это вот — *"Боря"*, а это вот — Алексей Михайлович.

Первое время дичился А. М.; в его шутках мне чуялось страшное что-то; но скоро его полюбил.

Никогда не забуду, как он расшалился на розановском воскресеньи; и приставал к В. Иванову (только что перебравшемуся в Петербург):

— У Вячеслава Ивановича — весь нос в табаке.

Он совсем неожиданно подскочивши к качалке, в которой задумчиво развалился массивный Бердяев, перепрокинул качалку; Бердяев же, описавши сальто-мортале, стремительно очутился под ней.

В то время Бакст только что кончил портрет З. Н. Гиппиус; и приходил к Мережковским, чтобы меня рисовать[68]; но во время сеанса присутствовала и З. Н.; мы вели разговоры; а Бакст, вглядывался в меня и как разбойник, накидывался на ту или иную черту мою; почему-то сеансы давались с трудом; все казалось, что Бакст мне ломает лицо; к окончанию сеансов во мне развилась невралгия лица; создалось впечатление: Бакст переломал мои челюсти; и на портрете отчетливо отразилось жалкое, страдающее выражение; в газетах писали об этом портрете, что стоит, мол, на него посмотреть, чтобы понять, какой выродок я; мне портрет не понравился; Бакст очень скоро нарисовал по-иному меня (для редакции *"Золотого Руна"*[69], заказавшего портреты писателей; тогда были Сомовым зарисованы — В. Иванов и Блок).

Я делил свое время по-прежнему: между домом Мурузи и Блоками; но сидения вместе носили характер импровизации; медиумизм атмосферы подчеркивался; но нам было уютно; и — весело перешучивались, *"по-детски"* играли; однажды А. А. мне лукаво сказал, что они твердо знают, кто я.

— Кто же я?

Тут Л. Д. рассмеялась, решив, что не скажет; А. А. же, посмеиваясь себе в нос, опустивши глаза, очень тихо сказал:

— Не обижайся — такая игра уж у нас: ведь мы с Любою часто играем в зверей...

— Так какой же я зверь?

— По-хорошему, — не обижайся: ты — беленький заяц; у нас он любимый зверек...

Иногда стиля сказочных глупостей — не было; А. А. хмурился; от него шли туманы; мне — делалось душно; однажды особенно был он доверчив со мною; сидел в столовой — за чаем; повел в свою спальню, сказав, что ему

нужно что-то поведать, отдельно, — без *"Любы"*; меня усадив на диван, он пытался мне выразить, что теперь он пришел к удивительному, очень важному внутреннему узнанью; узнанье связывалося с восприятием сильно пахнущего фиалкою *темно-лилового* цвета:

— Ты, знаешь, он — пахнет так душно: лиловый такой и ночной...

С этим цветом он связывал новую эру узнаний своих; в ту эпоху сложил я теорию восприятия цвета*; А. А. понимал, что в теории выражал я свои восприятия мистической жизни; определить человека, событие в *цвете, а цвет* — в свете этой теории означало: произвести опыт в духе; мистический опыт сложил: в отношенья друг к другу цветов; и А. А., наклоняя лицо надо мною с волненьем все пытался сказать, как он много узнал от вживания в едко-пахучий фиалковый, темно-лиловый оттенок; *оттенок* его как-то странно увел от прошедшего; и открылся ему такой темный, лиловый и новый, огромнейший мир. Что такое *фиолетовый* цвет? И — А. А. посмотрел на меня испытующе.

Я же смутился.

Ведь в опыте о цветах у меня доминировали три цвета: цвет света, иль — *белый;* цвет бездны засветной, сквозящий сквозь свет, — цвет *лазурный;* и — *пурпурный,* в свете не данный, соединяющий линию спектра: в круг спектра. Соединение трех цветов (белизна, лазурь, пурпур) по мнению моему рисовало мистический треугольник цветов, — Лик Христа; проповедовал: восприятье Христово — трехцветное; восприятье лазурью, пурпуром, белизною; лазурью и пурпуром, белизною и пурпуром, белизной и лазурью суть искусы, секты; а *темно-лиловый* — смешенье цветов (т. е. — пурпур, введенный в лазурь, или в белый, сквозящий зацветным); и выходило: в оттенке, пленившем А. А., — величайший соблазн, удаляющий от Лика Христова; пока А. А. тихо, взволнованно пересказывал мне восприятие этого темно-лилового цвета, я чувствовал нехорошо себя: точно поставили в комнату полную углей жаровню; угар я почувствовал; то угар Люцифера; *"пасть ночи"*, которая мне распахнулась однажды от разговора с А. А. на лугу, я увидел вторично; увидел А. А., уходящим в глубокую ночь; знал: ответить ему не могу, потому что А. А. — не поверит, обидится; я ответил:

— Да, в этом лиловом оттенке — предел утонченности, но нет — Лика...

— Что ж... ничего: хорошо!

И опять — стало душно; А. А. воспринимал прежде черное, как страшное, смертное, чего он боялся; теперь в эту "смертную ночь" эстетически он опустил три священные краски (лазурь, пурпур, белость), смешав их со тьмою; и это смешенье — темно-лиловый оттенок, фиалковый, люциферический запах; так откровенностью со мною А. А. — был раздавлен; а он — не видел моих тайных мыслей: испуга за Блока, ведомого в *"темно-лиловую"* ночь из слепительной розово-золотой атмосферы; тут он прочитал мне *"Ночную Фиалку"* свою в неотделанном виде; он выразил в ней переживанье "лилового" цвета и новых узнаний, соединенных с *"лиловым"*:

---

* Смотри статью: "Священные цвета".

... небо, устав прикрывать
Поступки и мысли сограждан моих,
Упало в болото.

Да, именно упадение *"неба"* в болото, покрывшее все, — знаменовал этот темный, фиалковый цвет.

Город покинув,
Я медленно шел по уклону
Мало застроенной улицы.

Воспринимал я уход А. А. в сети *"болот"*; все начало *"Нечаянной Радости"* протекает в *болотах: "Вот — сидим с тобой на мху посреди болот...", "Зачумленный сон воды — ржавчина волны", "Окрестности мхами завалены", "Попик болотный виднеется", "Не бойся пучины тряской", "Полюби эту вечность болот", "Мне болотная схима — желанный покой", "В этих впадинах тихая дремлет вода", "Знаю, ведаю... старину озаренных болот", "Болото — глубокая впадина огромного ока земли", "Пробегает зеленая искра, чтобы погаснуть в болоте", "Это шутит над вами болото. Это манит вас темная сила"* и т. д.

Опустилась дорога
И не стало видно строений,
На болоте, от кочки до кочки
Над стоячей и ржавой водой
Перекинуты мостики были.
И тропинка вилась...

(Ночная Фиалка)

Куда же вилась?

И тропинка вилась
Сквозь лилово-зеленые сумерки...

Эти лилово-зеленые сумерки — всасывание в болото упавшего неба; падение *неба* в болото для Блока казалось мне ужасом. Как не воспринял он "ужас"?

И недаром все было спокойно
И торжественной встречей полно.

Встречей — с кем, или — с чем?

Ведь никто не слыхал никогда
От родителей смертных,
От наставников школьных...
Что такой же бродяга, как я...
Может видеть лилово-зеленый цветок,
Что зовется Ночною Фиалкой...
. . . .

И запомнилось мне,
Что в избе этой низкой
Веял сладкий дурман,
Оттого, что болотная дрема
За плечами моими текла,
Оттого, что пронизан был воздух
Зацветаньем Фиалки Ночной.

И далее:

И сижу на болоте.
Над болотом цветет
Не старея, не зная измены
Мой лиловый цветок,
Что зову я — Ночною Фиалкой.

В этих выдержках — экспозиция лилового цвета, который для Блока в то время эмблема узнаний, окрасивших розово-золотую зарю в новый цвет:

Фиолетовый запад гнетет...

И от этого:

Далеко — глубоко —
Лиловые скаты оврага.

Что же таится, как образ, в *лиловом, Фиалковом* цвете? Становится образом он *"некрасивой девушки"*, которая *"пряжу пряла"*.

И еще я наверное знаю,
Что когда-то уж видел ее,
И была она, может быть, краше
И, пожалуй, стройней и моложе...

Она, есть та самая, о которой, когда-то сказал он:

Царевне так томно, и сладко —
Царевна — Невеста, что лампадка.
. . . .
Поклонись, царица, Царевне,
Царевне золотокудрой...[70]

Царевна теперь — постарела и подурнела:

Некрасивая девушка
С неприметным лицом...
И еще я наверное знаю,
Что когда-то уж видел ее.

Еще бы не видеть!

Приходила Ты в дальние залы,
Величава, тиха и строга.
Я носил за Тобой покрывало
И смотрел на твои жемчуга[71].

"Некрасивая девушка" оказалась теперь не во дворце, а в избе; там собрались заснувшие короли, засыпающие над кружками; там старик со старухой; а *"некрасивая девушка"* оказывается — королевной.

Королевна забытой страны,
Что зовется Ночною Фиалкой.

Забытая сторона — страна зорь; обитатели — аргонавты: их звал он когда-то:

И полны заветной дрожью
Долгожданных лет,
Мы помчимся к бездорожью
В несказанный свет[72].

Теперь они спят — вечным сном:

Кто, к щиту прислонясь,
Увязил долговязую шпору
Под скамьей;
Кто свой шлем уронил — и у шлема
. . . .
Пробивается бледная травка,
Обреченная жить без весны...

Под журчанием веретена или Вечного Возвращения — заснули:

И проходят, быть может, мгновенья,
А, быть может, — столетья...
. . . .
Вот сосед мой склонился на кружку,
Тихо брякнули руки,
И приникла к скамье голова.
Вот рассыпался меч, дребезжа.
Щит упал. Из-под шлема
Побежала веселая мышка...

Разложение прежней страны возникает отчетливо; что случилось, какое отчаянное, невероятное горе стряслось? Но А. А. называет то горе страною *лилово-зеленых* дурманов — Нечаянной Радостью:

Так заветная прялка прядет
Сон живой и мгновенный,
Что нечаянно Радость придет
И пребудет она совершенной.
А Ночная Фиалка цветет.

Ночная фиалка, иль восприятие *лилового* цвета, — вызревающий лейтмотив того времени для А. А.; и из этого лейтмотива рождается Ночь, им написанная:

В длинном, черном одеяньи,
В сонме черных колесниц,
В бледно-фосфорном сияньи —
Ночь плывет путем цариц.

. . . .

Кто Ты, зельями ночными
Опоившая меня.
Кто Ты, Женственное Имя
В нимбе красного огня?[73]

Люцифер!

Очень долго сидели с А. А. на диване в ту ночь; он — читал мне набросанную *"Ночную Фиалку"*, взволнованно посвящая в свои восприятия *лилового* цвета; а мне было душно; срывалось с души:

Кто Ты, зельями ночными
Опоившая меня?

Но спасать А. А. было мне трудно, почти невозможно: я помнил, что опыт спасенья А. А. со стороны С. М. Соловьева окончился строками той же поэмы, в которых, конечно же, отразилось все Шахматово, — разрыв человеческих отношений:

...Он исчез за углом,
Нахлобучив картуз,
И оставил меня одного
(Чем я был несказанно доволен,
Ибо что же приятней на свете,
Чем утрата лучших друзей).

Долго мы просидели вдвоем; после тихо вернулись мы к чаю; молчал; впечатление узнанного давило; Л. Д. с Александрой Андреевной посматривали на нас; они знали: нельзя нас расспрашивать о разговоре вдвоем; было грустно и душно; и я поскорее ушел. А. А. так-таки ничего не заметил; тяжелое впечатление вызвал мне он знакомством с *лиловой тайной*.

В то время я часто встречал у А. А. молодого студентика; он мне нравился; мы поспорили раз за столом о естественных принципах формы в эстетике; брат Л. Д., молодой Менделеев[74] присутствовал, помню, при этом; к студентику, кажется, Блок относился с особой доверчивостью; и никто еще в мире не знал, что он пишет стихи; это был Городецкий[75]; через несколько месяцев он прогремел; А. А. первый о нем написал, в нем отметил талант очень крупный; я слышал все чаще от Блока об Е. П. Иванове, замечательном человеке по мнению Блока; и Александра Андреевна присоединилася к сыну; не помню, встречал ли у Блоков его в это время; встречался, наверное, у Мережковских; там звали Иванова *"рыжаком"*; Е. П. скоро стал другом А. А. Про него много раз А. А. строго говаривал:

— Знаешь что, — он совсем удивительный: сильный и с опытом...

— Нет, он не то, что другие.

— Совсем настоящий.

Мне помнится, что А. А. очень часто впоследствии в трудных минутах своих обращался к Е. П. за советом. В эпоху, когда мы почти расходились, А. А. обращался ко мне:

— Ты спроси-ка Евгения Павловича: он — тебе скажет.

Или:

— А вот — погоди: — вот придет Иванов, Евгений Павлович, — рассудит, как надо.

Не раз замечал я тенденцию у А. А. в очень трудных, запутанных отношениях между нами подставить Е. П., как третейского между нами судью; и за это a priori на Е. П. надувался я (несправедливо, конечно). Впоследствии я Е. П. оценил, как действительно одного из немногих, кто подлинно был символистом, не написав ничего, вместе с тем, — неприметно участвуя всюду, в глубинных истоках, рождающих внутреннее устремление жизни. На похоронах у А. А. подошел я к Е. П., пожал ему руку; он плакал; махнул он рукою:

— Ушел... Мы — осталися тут; а для чего — догнивать?

Дружба Блока с Е. П. обнимает года.

Видывал, кажется, я у Блоков Владимира Алексеевича Пяста[76] (во всяком же случае, — видывал у Мережковского его); очень скоро потом мы встречались у Блоков не раз; В. А. Пяст — тоже был А. А. близок, как близок был, кажется, брат Владимира Гиппиуса[77], написавший поэму в 16-ти песнях.

В то время как раз начинается более тесное соприкосновение А. А. с Вячеславом Ивановым[78], — через меня (я в эпоху союза А. А. с В. Ивановым и Чулковым, направленным против московских *"Весов"*, очень часто досадовал, что впервые их свел, ведь вот свел — на шею себе).

В. Иванов тогда только въехал, ознакомляяся с петербуржцами; появлялася всюду золоторунная его голова с очень малыми, едкими, зеленоватыми глазками, с белольняной бородкой и красным безбровым лоснящимся лбом; очень вежливо обволакивал он собеседника удивительным пониманием всякого, необыкновенной начитанностью, которую он умел мягко стлать собеседнику под ноги; часто казалось, что он заплетает идейную паутину, соединяя несоединимых людей и очаровывая их всех; я бывал у Иванова; он тогда поселился почти над Таврическим старым Дворцом[79] (Государственной Думой впоследствии); и квартира его располагалась в выступе дома, высоко под крышею; этот выступ прозвали впоследствии *"башнею"*; обстановка квартиры (старинные итальянские кресла и книги, ковры) располагали к фантастике; сам В. Иванов с супругою, покойной Зиновьевой-Аннибал[80], представляли собою редчайшее соединение ума, добродушия, экстравагантности; ощущалось, что скоро квартира Иванова явится умственным центром, оспаривая дом Мурузи и "розановские воскресения".

Я точно не помню, когда начались те собрания, которые положили начало *"ивановским средам"*, оставившим след в литературе новейшего времени: в ноябре — декабре 1905 года или же в феврале 1906. Но мне кажется — в ноябре — декабре; я — присутствовал на первом собрании.

Мережковские, помню я, не особенно-то охотно смотрели на то, что я часто бывал у Иванова; З. Н. удивлялась, что мы перешли с ним на *"ты"*; раз в присутствии Вячеслава Иванова, церемонно явившегося к Мережковским

и певшего в нос витиеватые фразы, с дрожащим пенсне на носу (он рассеянно споткнулся, задевши ногою о мягкий ковер), — раз в присутствии В. Иванова З. Н. Гиппиус так-таки брякнула мне:

— Удивляюсь я, почему, Боря, вы говорите вдруг *"ты"* Вячеславу Ивановичу; он — почтеннейший человек и притом — старше вас.

Это ею было сказано для того, чтоб кольнуть В. Иванова — возрастом: Теоретик, рассеянный немецкий профессор[81], а — крутится с декадентскою молодежью! В. И., покрасневший, как рак, фистулой на меня закричал:

— Я не знаю... Быть может ты против того, чтобы мы обращались друг к другу на *"ты"*!

Я, конечно, сконфуженный совершенной бестактностью Гиппиус, бросился уверять В. Иванова в том, что мне было бы больно опять перейти с ним на *"вы"*. В этой выходке З. Н. сказывалась удивительная любовь: перессорить, где можно, людей; и — поставить в неловкое положение их; к В. Иванову в то время Д. С. и З. Н. относились с откровеннейшим недоверием; не оценили они в нем крупнейшего утонченнейшего человека; и все им казалось, что он лишь проделывает карьеру идей (от абстрактности ихней казалось им это). В. И. только к нам в то время порой обращал раздраженные выкрики; помню, он мне говорил в то время:

— Да неужели не видишь ты, что все это — ужаснейшая абстракция... Мережковский засел — в скорлупе: ничего он не видит...

В. И. в наших частых беседах на башне-таки посеял в мою душу сомнения в *"религиозных путях"* Мережковского; словом, я чувствовал: *"башня"* с Таврической воздвигалася твердою цитаделью, с которой намеревались обстреливать дом на Литейном.

Иванову и Зиновьевой-Аннибал я рассказывал много и долго о Блоке, которого знали они очень мало, которых А. А. в то время дичился (ему представлялся Иванов отчаянным *"Теоретиком"*, а дионисические тенденции его казались соблазном); в противоположность Д. С. — В. Иванов меня поражал удивительным пониманием моего отношения к Блоку и к музе его, ко всему, нас связавшему, и к *"атмосфере"* меж нами; то именно, что осмеивали во мне Мережковские — несказанность, невыразимость, молчание, — то Иванов подхватывал, запевая своим тонким голосом, точно смычком громкой скрипки, петушьим смычком; он похаживал предо мною, потряхивал белольняным руном завивающихся волос, оглашая пространство причудливой комнаты, треугольной какой-то:

— В том — суть дионисического переживания: то, что вас связывает у Блоков — мистерия...

— Надо теплить мистерии...

— Мы стоим пред зачатием нового Элевзиса![82]

И далее переходил он к теориям о новом театре, который уже очень скоро возникнет (и не на сцене, а в жизни интимной, возвышенной драматичностью).

Так В. Иванов высказывал величайшую чуткость к А. А. и ко мне.

Я частенько в то время передавал А. А. Блоку свое впечатление от Иванова; я утверждал изумительную проникновенность его; А. А. верил

с трудом мне: препятствовала репутация В. Иванова, — репутация не поэта, а *"Теоретика"*; и препятствовал вид: вид профессорский; но Л. Д. откликалась на мысли о новом театре мистерий, как раз соответствовавшие настроенью ее, — создать пробу импровизации и найти внешний жест к безглагольному жесту; она увлекла А. А. в направлении этом.

Так я подготовил им почву для встречи с Ивановым; встреча связалась с конкретною мыслею: создать коллектив (полустудию, полуобщину); лишь немногие, избранные, должны были быть, по фантазии нашей, допущенными к коллективу; не помню кому принадлежала идея; быть может Л. Д.; А. А. — отозвался; Иванов, которому передал я затею, развил ее; а из всего вытекало: А. А. и В. И. должны были сойтись.

Я повез В. Иванова к Блокам впервые; и сидя в санях, созерцая фигуру В. И., чрезвычайно сутулую и закутанную в огромную шубу, с дрожащим *"пенсне"* на носу, я подумал: А. А. и Л. Д. испугаются — *"профессорствования"*; и — разговор — оборвется; но — он не сорвался: В. И. заплетал чудодейственную мягкую паутину идей; разумеется — очаровал Блоков он; Л. Д., кажется, особенно подчинялась словам о пурпурных цветах для одежд в дионисических таинствах и о зелененьких *"бакхах"*; решили: стараться осуществить "коллектив"; В. Иванов упомянул о Чулкове, как о чуткой душе, нас способной понять; и — включили Чулкова.

Так складывалась группировка людей, из которой возникли впоследствии *"Факелы"* и *"Оры"*; Чулков заговаривал о мистическом анархизме, которого выразителями первоначально считал он А. А., Вячеслава, меня; он — во мне обманулся поздней: через год я открыл из *"Весов"* канонаду; пока — раздавалось лишь слово *"мистический анархизм"*; слово — нравилось.

Первое собрание (не *"коллектива"*, а будущих *"сред"*) состоялось, как кажется, в то время (быть может, — позднее) на башне, куда я завез неожиданно для себя староколенного человека, П. И. Безобразова[83], страдавшего боязнью пространства и просившего меня подниматься по лестнице вместе. П. И. Безобразов, которого выбрали председателем беседы-импровизации на тему *"Любовь"*, — заложил первый камень фундамента *"сред"*; если память не изменяет, на этом собраньи присутствовали: Мережковский с женою, Бердяев с женою, В. Розанов, П. Безобразов, Иванов с женою, А. А.; кто еще — не упомню (Г. И. Чулков, может быть); помню я, что о любви говорили: Иванов, Бердяев, я, Л. Ю. Бердяева[84], говорил ли Д. С. Мережковский — не помню; молчал В. В. Розанов; этот последний ко мне подошел после речи моей (кажется, я говорил о трех фазах любви: любви к Богу, к Ней, к людям; и называл эти фазы — любовью по чину *один, два и три*); подошел В. В. Розанов и спросил:

— А скажите, — наверное не переживали того, о чем только что говорили.

Спросил его:

— Почему вы так думаете?

Он — настаивал:

— Если бы вы пережили хоть часть из того, что сказали, вы были бы — гений...

И приговаривал он, поплевывая словами:

— Не переживали, конечно...

— Признайтесь?

А. А. сидел в дальнем углу, прислонив свою голову к стенке, откинувшись, очень внимательно слушая, с полуулыбкой; когда обратились к нему, чтоб и он нам сказал что-нибудь, он ответил, что говорить не умеет, но что охотно он прочитает свое стихотворение: и прочел он *"Влюбленность"*; он был в этот вечер в ударе; уверенно, громко, с высоко закинутой головою бросал в нас строками:

Влюбленность! Ты строже Судьбы,
Повелительней древних законов отцов!
Слаще звука военной трубы![85]
. . . .

Я — собрался в Москву; даже, кажется, куплен билет был; и — кажется, даже простился я с Блоками; словом — уехал; как вдруг — железнодорожная забастовка; восстанье в Москве. Каждое мое передвиженье от Блоков — сопровождалось сюрпризом; убийство фон Плеве, убийство великого князя, восстание на броненосце *"Потемкин"*, восстанье в Москве.

Я был вынужден переждать; с первыми поездами уехал; простились мы бодро; А. А. мне сказал:

— Переезжай-ка совсем к нам сюда...

Л. Д. подтвердила:

— Скорей приезжайте: нам будет всем весело!

На перевале

Вернувшись в Москву, я застал настроенье разгрома; на многих улицах не было телеграфных столбов; повалили их для баррикад; и потом — полицейские и солдаты сжигали их; снег был от этого черный; с восьми запрещалось ходить; но Москва мне мелькнула как сон; я готовился к переезду; запомнились: начинающиеся собранья *"Руна"*, первый номер которого только вышел; запомнилась: переписка, громовая, — с Мережковскими за статью мою *"Ибсен и Достоевский"*[86] и за заметку (не помню заглавия) — кажется, — *"Отцы и дети русского символизма"*[87]; за умаление Достоевского я удостоился львиного *рыка* Д. С., написавшего мне собственноручно и грозно (обыкновенно З. Н. за него распиналася письмами); Д. С. мне объявлял, что я предал их дело; в лице Достоевского я оскорбил *"нашу линию"*; в лице *"линии"* — оскорбил я грядущую Церковь Христову (Д. С. в это время держал курс *"сознания"* — на Достоевского, а через несколько лет — стал держать на *Толстого*); в заметке *"Отцы"* я высказывал: как нам ни дороги имена Мережковского, Розанова, мы должны откровенно сказать, что задачами их не исчерпывается наш путь; во всем тоне заметки откладывалось назревающее разочарование в *"религиозных путях"* Мережковских, которых

этим сказано: щупленький, маленький, лучше всего рассуждающий в туфлях с *"помпонами"*; менее удачно — на диспутах (перепутывая все мысли противников — глух!): рассуждающий много, когда не мешало бы помолчать; и молчащий *тихонько*, когда произнесенное слово (хотя бы одно: *"Несостоятелен Маркс"*) — религиозное, нужное действие.

— *"Белоручка и зябкий"* — так раз мне А. А. определил Мережковского (кажется, — на прогулке): все сказано! Я стал присматриваться: да, белоручка, — придет кто-нибудь:

— Зина, ты уж поговори, — мне же надо засесть за *"Петра"*[94].

И З. Н. — *"отдувается"*; посетитель *"обделен"*, — тогда появляется Д. С. — с *"рыком"* и *"гласом"*.

— Мы — ваши; вы — наши.

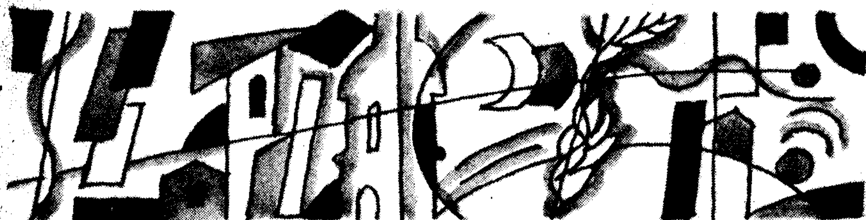
Все это провидел в них Блок.

В этих мыслях о Мережковских я жил; я готовился к переезду; казалось мне — мы с А. А., с Вячеславом Ивановым можем начать *наше дело*; подготовлять — наше действие; *мистерию человеческих отношений* под скромной личиной: интимного, театрального действия. Любовь Дмитриевна мне писала в то время: "Скорей приезжайте: за ваше отсутствие написал Саша драму; она называется *"Балаганчик"*: хороший он..."

В феврале 1906 года я — тронулся в Петербург.



Глава шестая «ТЫ В ПОЛЯ ОТОШЛА БЕЗ ВОЗВРАТА»



Балаганчик

В феврале я — опять в Петербурге; за день до отъезда в Москве, у меня — аргонавты; меня провожают: как будто совсем уезжаю; тут — Эллис, Петровский, Сизовы, два брата[1], Владимиров, отъезжающий в Мюнхен, С. М. Соловьев, Поливанов, Н. М. Малафеев[2], М. Эртель, П. Батюшков, кто-то еще. Очень грустно: действительно, — точно простились; не помню, чтоб так собирались, — потом; мы расстались; и — оказались в различных течениях; не было молодого задора, как прежде; у всех обнаружились — драмы; переживали и разделение *"Астровского"* кружка; С. М. Соловьев, Поливанов испытывали охлаждение к Астрову; да, мы прощались.

Приехавши в Питер, остановился на Караванной я, в меблированных комнатах[3], игнорируя Мережковских, которые не могли мне простить нападательный тон мой в *"Весах"*. Петербургские устремления были связаны с Блоками; в первый же день по приезде увидел в окне магазина я куст пышной, бледнеющей, великолепной гортензии — голубой; послал ее Блокам; боялся: за эту посылку — *"влетит"*; не влетело; Л. Д. лишь сказала:

— Такой не видала!

Александра Андреевна посмеивалась:

— Ну конечно, должны были вы этот куст нам прислать.

— Все как следует...

— И понятно: сердится — за что?

Было холодно как-то в гостиной с зелеными креслами; куталась в красную тальмочку Александра Андреевна; сердце у ней расшалилось; она говорила:

— Вы знаете, как припадок, так делается — не то: это знаете?

— Знаю.

— Так знайте же: это — от сердца...

Впоследствии в схватках невроза, я — понял, что чувствовала Александра Андреевна:

— Все то, да — не то...

Мне запомнились эти слова, потому что они выражали какую-то смутную мысль; эти белые стены, в которых сидели недавно с уютом — не те; и холодные: в комнатах — холодно; А. А. — тот же; и — нет: не декабрьский; и тоже поступок с гортензией; что нехорошего, — полюбилась гортензия; я и послал; вышло — как-то не так; Александра Андреевна, хваля мне гортензию, точно старается: оправдать; мне не раз говорила Л. Д., что во мне — вкусовые дефекты; и частое перечисление драгоценных камней в моих строчках не нравилось:

— Саша не сделает таких промахов.

Раз же сказала она:

— Посоветовала бы вам галстух носить другого оттенка; оттенок, который вы носите, как-то безвкусен...

И вот я почувствовал, что посылка гортензии всех покоробила; но — пощадили; самолюбие — заговорило: замкнулся (не так меня встретили: не на *это* я бросил Москву...).

— Нет, не то!

Я позволил себе аритмию вторую: прочел им статью мою о *"Трилогии"* Мережковского для *"Золотого Руна"*[4], пожелавшего угодить Мережковскому, поручившему мне ее, как приверженцу; эту статью написал архаически-риторическим стилем, где Гоголь и Карамзин проплелись стилем епископа Иллариона[5]; и вышла — безвкусица; я ощутил ее в чтении; А. А. забавлялся:

— Ну, думаю, Дмитрий Сергеевич стилистических упражнений — не поймет; и воспримет статью, как пародию... Сам ты их знаешь, такие они... Стало холодно; стал я высказывать мысли, сплетая с цветами; привел им градацию тусклостей и Л. Д. поднялась; и — ушла; я не понял — зачем; — но обиделась явно; потом уже выйдя сказала:

— Ну что, — перестали ругаться?

Действительно, в тусклой градации — отразилось во мне что-то, схожее с недовольством, я сам — не приметил; Л. Д. поняла: я ругался цветами. Прощался и видел: ярчайшие апельсиновые оттенки зари.

Блоки скоро меня посетили; и снова — *"не то"*; и — неловкость; коснели в безвкусице номера — около столика; подали чай; А. А., делая вид, что ему хорошо, — улыбался любезней; я сделался — словоохотливей, а Л. Д. — не любезней, чем надо; а косные стены стояли, нас гнали; и нам говорили:

— Не то!

Неудачился вечер; А. А. выпускал папиросный дымок и свой юмор: да, да, ждет меня распекание: *"Зина"* и *"Дима"* в присутствии *"Таты"* и *"Наты"* меня-таки да, — за статью.

— Ты-ка, спрячься пока: не ходи! попадешься, — влетит, — говорил он, вставая, похаживал вдоль стены, садился опять; и искорка юмора блекла; и взгляд становился далеким; и делалось вяло: и *серо-лиловая, серо-зеленая* атмосфера какая-то разливалась вокруг; принимался их потчивать сладкими пирожками, А. А. — улыбался:

— Нет, лучше оставь: не умеешь...

Так было в тот вечер; я ехал, переселялся, может быть, навсегда; и Л. Д., и А. А. вызывали меня; а приехав — увидел: *необходимости приезжать-то и не было;* тут в Петербурге — *их* жизнь; я — с Москвой; выходило: я здесь состою адъютантом каким-то; и Блоки, так звавшие, сами не знали, на что я теперь, осознав, что — не нужен, — испытывали недовольство собою (и — мною); как будто судьба моя попала им в руки; так тяжесть, которую вызывались нести, потому — что доверился зову; звать значило — к ним; а им было тяжко самим, углубились меж ними различия; было труднее им вместе; вплетение лишней судьбы — осложняло; чего-то во мне испугались; А. А. был под гнетом, передавшимся: и — в заботах: экзамены (государственные) предстояли ему; не до меня тут; а я появился; и — требовал точно чего-то.

Но суть не в экзаменах, а в желаньи А. А. отмахнуться от всех, с А. А. бывали периоды, переходящие просто в угрюмость; она развивалась в позднейших годах; для меня же отметилась только в этом периоде; периоды он убегал от людей; мне позднее случалось спрашивать:

— Что Блок?

— Блок — мрачен, невидим...

И иногда прибавляли:

— Он — пьет.

. . . .

А. А. чувствовал: слом путей приближался: темно, безотрадность; *лиловый* оттенок, манивший его в *ноябре,* — повел в ночь; стал — чернеть, обволакивая; щеголяние в пышностях цветовых он рассматривал маскарадом; доселе в быту он держался и милым, и светским, очаровательным через силу; раз я увидел его перепутанным, встрепанным: в Шахматове. А теперь его кризис облек в постоянное выражение скорби и строгости, воспринимаемое глухотою какою-то; часто сидел он в глубоких тенях, из которых торчал удлинившийся нос, и виделся мне изогнувшийся рот; желтовато-несвежий оттенок худевшего лика, мешки под глазами, круги, — это все говорило без слов:

— Не понимаю!

— Не то...

Натолкнешься на этот невнемлющий взор: и — толкаешься в душу:

— Пойми!

Уже и злил меня видом, упорством, глухонемой безотзывностью; прежде отзывный, теперь — как стена; знал: Блок — умница; вид идиотский — каприз и протест; против слов; если бы был перед ним Мережковский, Бердяев, Булгаков, — я понял бы; а ведь тут — я; и заметивши, что Блок — глухарь, невнимающий внутренне, очень бесился: не мог допустить, чтоб А. А. относился ко мне, как к другим. Возмущался я строчками:

И сидим мы, дурачки,
Немочь, нежить вод:
Зеленеют колпачки
Задом наперед.

Это что же? Глумление? Видя Блока капризником, непонимающим внятности, — думал:

— Разыгрывает роль дурачка...

Вспоминался С. М. Соловьев, восклицавший:

— У Блока — есть строки, которые принимаются за особо глубокие: это — невнятица...

Возмущался С. М. одной строчкой "И *развеяли... флаг"*. Он доказывал: флаг — ни при чем; никакого здесь флага не надо; а все — принимают. А. А. водит за нос... И я раздраженно себе говорил:

— Ну, меня водить за нос — не будешь!

Такой вот аспект в лице Блока отчетливо выступил в памятный вечер; было втроем — неуютно; Л. Д. — побледнела в том черном, обтянутом платье, в котором я видел ее во сне (год назад). И вот, — точно я вошел в сон; или — сон этот вышел; внимала как будто бы звукам судьбы, охватившей так скоро; А. А. не поддерживал наш разговор (вывозил его — я). Заговорили о Рябушинском, редакторе *"Золотого Руна"* и о пиршестве в *"Метрополе"*[6], смешных инцидентах; Л. Д. отмечала:

— Москва...

Что на ее языке означало:

— Провинция...

Мне доставалось:

— Москвич!

Это значило:

— Галстух не тот...

И глубокая разность *"московской"* натуры от *"такта"*, в которой рядилась Л. Д., поднималась меж нами; А. А. поправлял положение; но — знал; он с Л. Д.

— Говорил: — "у вас так это, а у нас, в Петербурге, — не так".

Он очень с юмором представлял *"москвича"* Рябушинского с розой в петлице. Рассказывал мне: Мережковский, откликнувшись на приглашенье *"Руна"*, сбыл плохую поэму; и — охладел к Рябушинскому; и кряхтела Редакция, взявши плохую поэму[7]; Л. Д. тут зевнула:

— Пора: очень хочется спать!

Решено было встретиться — вскоре: А. А. прочитает написанный им *"Балаганчик"*. И Блоки ушли; еще долго шагал, ударяясь в стены, а стены сказали:

— Не то!

И хотелось — в Москву: было б лучше! Но я — не уехал.

. . . .

Вот — чтение *"Балаганчика"*[8] или удар тяжелейшего молота: в сердце; пришел еще рано, — в приподнятом настроении: ведь написана гениальная вещь; ведь писала Л. Д. *"Балаганчик" — хороший"; "хороший"* связался

с мыслью, что драма — *"мистерия":* для постановки в Интимном Театре, которого волили Блоки, Иванов и я; тут мне виделись *важные действия вместе;* то — утверждение любви коллектива, которого жизнь по Владимиру Соловьеву — *сигизия*[9].

Собралися в зеленой гостиной; пришел Городецкий и Пяст, и еще юноша, стянутый в свой сюртучок — преторжественно, точно на праздник; и Е. П. Иванов, столь чтимый у Блоков, которого Мережковские называли *"рыжак"*, косолапо рыжел он, гудел между креслами; кто-то еще; Л. Д. с взвинченной аффектацией, стремительно принимала гостей (наблюдал, удивляясь ее экспансивности, новой в ней); каменный и угловатый А. А. деловито потаптывался, раскрывая гостям портсигар; был сюртук в этот вечер поношен на нем.

Все расселись на мягкие кресла; А. А. монотонно читал себе в нос:

— Истекаю я клюквенным соком.

Нелепые мистики, ожидающие Пришествия, девушка, косу (волосяную) которой считают за смертную косу, которая стала *"картонной невестой"*, Пьеро, Арлекин, разрывающий небо, — все бросилось издевательством, вызовом: поднял перчатку! Назвать *"Балаганчик"* хорошим — не мог; и его написал А. А. Блок?

О, конечно, он — изгнанный из придела Иоаннова: так я подумал; и нечто, подобное смерти, переживал; я не понял страдания, продиктовавшего строки; но — понял я: даже радостная импровизация, о которой шла речь, — погибнет; и вместо души у А. А. разглядел я *"дыру";* то — не Блок: он в моем представлении умер; пусть видели — *великолепнейшее произведение искусства;* произведение исполнено силы, — я видел; но думал: какою ценой покупалась она?

. . . .

Здесь ресторан, как храм, светел
И храм, как ресторан, открыт.

Молодежь — восхищалась; немеющий Пяст ничего не сказал; и спросили:

— Ну что?

Я ответил:

— Да, знаете, — замечательно...

И весь вечер старался держаться, как если бы все было — *"то"*.

. . . .

Мы с А. А. никогда не беседовали о *"Балаганчике";* раз он повел меня сам: посмотреть на него. Посмотрели мы молча.

. . . .

Зачем не уехал в Москву? Продолжал посещение Блоков; ходил — не к А. А., — а к Л. Д.; потеряв в А. А. брата, привязанность к *"коллективу"* я перенес на нее; а граница меж мной и А. А., переходящая во взаимное недоверие, просто оформилась тем обстоятельством, что А. А. предстояли экзамены: я же — не буду *"мешать";* говорили об этом не раз мы с Л. Д., с Александрой Андреевной.

Просиживали с Л. Д. вечерами; и из рассказов ее выяснялся размер перелома в душе у А. А. и — подробности личной жизни, мне чуждые: другой Блок! Но Л. Д. говорила, что нужно беречь его; что в нем — много больного и детского; но и другие — суть дети (что детское было — доказывает пристрастие Блока к картинкам; он, взрослый, вырезывал их, чтобы наклеить в тетрадь); говорила Л. Д. : ей порой с А. А. трудно; она — утомляется в роли: быть нянькой.

А. А. не присутствовал при разговорах о нем, а сидел в смежной комнате: с книгой; потом выходил и с натянуто-недоуменной улыбкою, сквозь которую проступала отчетливо хмурость, искал он предлог нас покинуть: рассеяться после занятий.

Казалось, что А. А. недоволен беседами, подозревая вмешательство в личную жизнь; но — молчал; и неискренность эта меня раздражала: ведь сам — отдалился: и создал меж нами — молчание; стало несносно сидеть нам — втроем, вчетвером; и когда собиралися вместе, то чувствовал: А. А. думает, что я думаю, что он думает; каждый так думал; и легкость былого общения переменилась в непереносную тяжесть; лишь изредка силился я по-прежнему пооткровенничать, чтобы вместе *понять*, *разобрать*, но он видом показывал:

— Фальшь...

— Нет, не выйдет...

— Давай уж молчать...

— Говори себе с мамой и с Любой...

И стало казаться, что нет *"коллектива"*, а — ряд замыкаемых отношений, в которых не все безмятежно; разлад — углублялся: меж каждым и каждым; и — новые отношения строились: ясно лишь было, что о былом, о совместном, не может быть речи.

. . . .

Да, эти недели окрашены: совершенным отсутствием на моем горизонте А. А. : он сидел — в смежной комнате; и — выходил, проходя; начинаются частые исчезновения Блока из дому; окреп в нем шатун.

Что я пережил очень бурно и лично по отношению к А. А., выступает позднее в рецензии на второй том стихов. Считаю: оценка моя замечательной книги — несправедлива, перепечатываю ее, как необходимый, увы, документ отношений моих к его миру поэзии.

"Нечаянная радость"*

Блок — один из виднейших современных русских поэтов. Поклонники могут его восхвалять. Враги — бранить. Верно — одно: с ним необходимо считаться. Рядом с именами Мережковского, Бальмонта, Брюсова, Гиппиус и Сологуба в поэзии мы неизменно присоединяем имя Александра Блока. Первый сборник стихов поэта появился только в 1905 году. Тем не менее есть уже школа Блока...

---

* Рецензия, напечатанная в журнале *"Перевал"* в 1907 году.

Даже поверхностное рассмотрение поэзии А. Блока убеждает нас в несомненном влиянии на него Лермонтова, Фета, Вл. Соловьева, Гиппиус и Сологуба. Из иностранных поэтов больше всего влиял на него Метерлинк. Если бы мы не боялись историко-литературных определений, мы могли бы назвать его русским Метерлинком без аристократизма, свойственного этому поэту, но с большею близостью к истокам души народной. Впрочем, мы не стоим за это сравнение.

Каково идейное содержание высокочтимого поэта?[10] Но тут приходится остановиться, потому что второй сборник стихов А. Блока выдвигает совершенно новые для поэта мотивы. *"Стихи о Прекрасной Даме"* окрашены определенным и весьма значительным содержанием. В неуловимых и нежных строчках поэт воспевает приближение *"вечно женственного начала"* жизни. Здесь он является продолжателем целого ряда имен. В ароматный венец его поэзии вплетены раздумья Платона, Плотина[11], Шеллинга[12], Вл. Соловьева и гимны Данте, Лермонтова, Фета. Древние гностики вместе с греческой философией всесторонне разработали учение о мировой душе и *"вечно женственном"* начале Божества. Шеллинг в сочинении *"Weltseele"*[13] пытался дать учению о мировой душе естественно-научную подкладку. Гете, Данте, Петрарка сумели из любимого образа создать символ вечно женственного, соединяя универсализм гностических догматов с индивидуальными переживаниями. Фет и Лермонтов бессознательно касались того же. Вл. Соловьев, соединяя размышления гностиков с гимнами поэтов, сказал новое слово о близком сошествии к нам лика Вечной Жены. Тут началась поэзия Блока. Тема его — глубокая. Цель его — значительная.

Вдруг он все оборвал...

В драме *"Балаганчик"* горькие издевательства над своим прошлым. Последнее время злоупотребляли плохо понятой гностикой — это правда. Но правда и то, что издевательством не опровергнешь ни Платона, ни Плотина, ни Гете, ни Данте. Ожидания могут быть неуместны. Но проблема остается проблемой. Она не терпит издевательств.

И вот, во втором сборнике мы узнаем, что *"Прекрасная Дама"* не путешествует на пароходах. Вместо *"сиянья красных лампад"* мы видим болотных чертенят, у которых *"колпачки задом наперед"*. Вместо храма, — болото, покрытое кочками, среди которого торчит избушка, где старик и старуха и *"кто-то"* для *"чего-то"* столетие тянут пиво. Нам становится страшно за автора. Да ведь это не *"Нечаянная Радость"*, а *"Отчаянное горе"*. В прекрасных стихах расточает автор ласки чертенятам и дракончикам. Опасные ласки! Ведь любой дракончик может вытянуться в настоящего дракона (туманы, как известно, растут). Рыцарь Жены всегда — в борьбе с Драконом. А вот превратился Дракон в дракончика, и поэт его пожалел: пожалел и пригрел. Помнил ли он, что с нечистью шутки плохи?

Но, сбросив с себя идейный балласт, поэзия А. Блока расцвела махровым, пышным цветком! Темы настроений утончились, стих стал виртуознее, гибче, роскошней. Прежде нам приходилось спорить с одним известным поэтом, утверждавшим, что *"Стихи о Прекрасной Даме"* не выражают истинного лика

поэта. Поэт оказался прав*. *"Нечаянная Радость"* глубже выражает сущность А. Блока. В этом отношении Блок настолько же выиграл, как поэт, насколько он упал в наших глазах как предвестник будущего, потому что мы предпочитаем оставаться при загадках, загаданных мудрецам (пусть нерешенных, но требующих от нас жизни для решения), нежели при издевательствах (хотя бы и поэтических, прекрасных) над этими загадками.

Второй сборник стихов А. Блока интереснее, пышнее первого. Как удивительно соединен тончайший демонизм здесь с простой грустью бедной природы русской, всегда той же, всегда рыдающей ливнями, всегда сквозь слезы пугающей нас оскалом оврагов — соединен в бирюзовой нежности просвета болотного, в вечном покое зеленых мхов. И нам страшно этого покоя; зачем эта нежность, когда она — *"прелесть"* болотная:

И ушла в синеватую даль,
Где дымилась весенняя таль,
Где кружилась над лесом печаль.

Но ушла — к колдуну; и — колдун:

Закричал и запрыгал на пне
— Ты, красавица, верно — ко мне![14]

И нам становится больно, когда вечерняя заря обвивает не только *"весеннюю проталинку"*, но и того, кто на ней. А на ней —

Попик болотный виднеется.
Ветхая ряска над кочкой
Чернеется
Чуть заметною точкой[15].

Искони здесь леший морочит странников, ищущих *"нового града"*; искони, мужичка оседлав, погоняет Горе-горькое хворостиной. Скольких погубило оно: закричал Гоголь, заплутал тут Достоевский, тут на камне рыдал Некрасов, Толстой провалился в немоту, как в окошко болотное, и сошел с ума Глеб Успенский; много витязей здесь прикончило быть, — *"здесь русский дух, здесь Русью пахнет"*. Здесь Блок становится народным поэтом.

Здесь рыскает леший, а Блок увидел *"своего полевого Христа"*[16]. Не надо нам полевых Христов. Христос Бог да сохранит нас от таких пришествий!

Где же Та, Которую призывал поэт еще так недавно? Там, где он не кощунствует, у него вырывается:

О, исторгни ржавую душу!
Со святыми меня упокой.

Прекрасно поет он о наших убогих полях, так прекрасно, что мы, завороженные *"прелестью"*[17], начинаем верить, что все тут благополучно.

---

* Поэт этот В. Я. Брюсов.

Ведь здесь все *"вечно прекрасно — но сердце несчастно"*. Откуда этот стон у сказителя полей?

Так — и чудесным очарованы —
Не избежим своей судьбы.
И в цепи новые закованы
Бредем, печальные рабы[18].

Цепи *"Прекрасной Дамы"* — гирлянды роз — поэт с себя сбросил. Откуда же эти "новые цепи"? Не цепи ли болотных чертенят? Страшно, страшно: идти больше некуда в отчаянии, когда и в *"Нечаянной Радости"* из огорода капустного приходит тот же оборотень *"Единый, Светлый — немного грустный"*, когда такую картину рисует поэт своей нечаянной радости:

И сидим мы, дурачки,
Нежить, немочь вод.
Зеленеют колпачки
Задом наперед.

Уж подлинно не зачаешь такой радости! Уж подлинно: нечаянная она!

"Новой Радостью загорятся сердца народов, когда за узким мысом появятся большие корабли"[19] (вместо предисловия).

Перед лицом народов сложные задачи; они требуют определенного образа решений, определенного, ясного, как Божий день, слова. И радоваться только тому, что из-за узкого мыса плывут корабли, еще рано: большие корабли часто приносят большую заразу.

"Нечаянная Радость" определенно пронизана все тем же воплем нищего:

Кто взманил меня на путь знакомый?
. . . .
Нищий, распевающий псалмы?[20]

Нищий ли это странник или горе-гореваньице? Во всяком случае не псалмы распевает нищий, а панихиду:

Со святыми меня упокой.

Сквозь бесовскую прелесть, сквозь ласки, расточаемые чертенятами, подчас сквозь подделку под детское или просто идиотское, обнажается вдруг надрыв души, глубокой и чистой, как бы спрашивающий судьбу с удивленной покорностью: "Зачем, за что?" И увидав этот образ, мы уже только преклоняемся перед крупным талантом, не только восхищаемся совершенством и новизною стихотворной техники — мы начинаем горячо любить обнаженную душу поэта. Мы с тревогой ожидаем от нее не только совершенной словесности, но и совершенных путей жизни.

Я все более понимаю Л. Д.; очень странно: до этого времени лично почти не общались мы; Л. Д., точно играя на сцене, присутствием *"освещала"* нас, дирижируя тонусом разговоров, — улыбкою, взглядами; воспринимали вне лично ее, как бы фоном как *место* свершения важных душевных событий; она стала — *"символом"*; это С. М. Соловьев, деспотически правивший прежде *"ладьей"* общения, создал почву, такой "status quo" устранял Л. Д., превратив ее в символ, в жену мирового поэта, в инспиратрису его: в знак зори; о живом человеке не знали; создали Л. Д. для себя; и она — приспособилась к нам.

После резкого отчуждения С. М., Л. Д. вдвинулась в наше общенье с А. А.; не была уже фоном, Любовью *Деметровной*[21], дочерью *"хаоса"* (Менделеева); из персонажа *"Лапановской"* философии стала "сестрою"; взяла ноту — в трио; но брала ее только *"меж нами"*; с А. А. удалялись en deux, а с Л. Д. я никогда не имел разговоров (как с Гиппиус, с *"Татою"*, с Александрой Андреевной), выхожденье С. М. из *"коммуны"* есть шаг на пути к моей встрече с Л. Д., продиктованной всем; в декабре А. А. мне посвятил стихотворенье, с надписью *"Боре"* (впоследствии, в годы разрыва, он снял посвящение):

Милый брат! Завечерело.
Чуть слышны колокола.
Над равниной побелело.
Сонноокая прошла.
Проплыла она — и стала,
Незаметная, близка.
И опять нам, как бывало,
Ноша тяжкая близка...[22]

Стихотворение — память о наших прогулках:

Издали — локомотива
Поступь тяжкая слышна...
Скоро финского залива
Нам откроется страна.
Ты поймешь, как в этом море
Облегчается душа,
И какие гаснут зори
За грядою камыша.

А наконец — Любовь Дмитриевна: стиль быта втроем:

Возвратясь, уютно ляжем
Перед печкой на ковре
И тихонько перескажем
Все, что видели, сестре...
Кончим. Тихо встанет с кресел,
Молчалива и строга.
Скажет каждому: — Будь весел.
За окном лежат снега.

Расходяся с А. А., конкретно столкнулся с Л. Д. : человека увидел; и — понял: переживала острейший толчок, ее бросивший от *"зорь"*, интересов к науке и к Канту (она занималась сперва математикой, после же логикой), — ее бросивший к скептицизму, к тоске по конкретности; не без надрыва вступала на путь артистизма; переход ей дался не легко; и — страдала; и говорила, что *"зори"* вскружили ей голову; в *"инспиратрису"* всех — верила, вошла в роль; *"зори"* гасли; а *"роль"* — оставалась: инспиратриса, *"дочь светлая хаоса"*, стала артисткой, говорила, что мы ее — портили *"ролью"*. Теперь в ней сказался протест и желание выявить без остатка себя, как себя; и — критически нас разбирала; и многое в нападеньях Л. Д. было горькою правдой: она — человек, а не кукла, не символ; стал слушать ее, разбирать отношения наши друг к другу и нападать: на всю линию поведения А. А.; но Л. Д. защищала его; в защите же предо мною возникал новый Блок; это — тоже удар для меня; Л. Д. видела в нем раздвоенье всегда; но она утверждала: А. А. — лучше нас; он, по-своему — прав.

Я — оспаривал.

В спорах о жизни мы сблизились, как искатели правды, ее потерявшие в безглагольности прошлых "радений"; прислушивались к искусству, ходили гулять в Эрмитаж; переживая у Кранаха[23] краску, а тень у Рембрандта, и восхищаясь танагрскими статуэтками[24], перед которыми подолгу простаивали; и возвращалися Набережной, — в казармы, к обеду; тогда выходил молчаливый А. А.; я умел подмечать несогласие меж Л. Д. и А. А., присоединяясь к Л. Д., отдаваясь растущему отчуждению к Блоку; Л. Д. — подала бессознательный повод для критики *"Блока-поэта"*, признавшись, как ей тяжело.

Мы бывали на выставках; С. П. Ремизова показала на выставке раз под строжайшею тайною Савинкова, разыскиваемого полицией, но живущего в Петербурге; он смело явился в публичное место (бывал и у Ремизовых: я имел поручение передать в *"Золотое Руно"* стихотворение Савинкова, забракованное Соколовым, которому имя автора я, конечно, не мог открыть).

Встретился я с Мережковскими: произошло объяснение; приводили к присяге меня: укоряли, стыдили, — простили; и мы — обнялись; водворился по-прежнему в доме Мурузи; и было — по-прежнему: перед камином с З. Н.: разбирательства религиозно-общественных отношений с Д. С. и Д. В. Философовым, дружба и с "Татой", и с "Натой"; и появления Карташева. К З. Н. подошла в это время С. П. Ремизова-Довгелло; Алексей же Михайлович часто являлся: подмигивал, добродушничал, говорил мудро-дикие вещи, — скрывался.

С З. Н. Мережковской нашли точку новую встречи в решительном гневе на безответственность новых кружков; и — на "среды" Иванова, заставившего меня опасаться всепонимания, переходящего в *"всеобъятие"*, *"все-покрытие"* утонченнейшими диалектическими софизмами; в них меня останавливала *"двусмысленность"* и знак равенства, ставимый меж *"все-гранностью"* и *"без-гранностью"*. З. Н. жаловалась на ужаснейший хаос идей, поднимаемый *"средами"*; приводило в негодованье ее очень глупое *"действо"*, совершенное

где-то, когда-то: литераторы, восхотевши *"мистерии"* и *"орхестры"*, составили хоровод; и — кололи какого-то литературного адвоката булавкою; выжав кровь, распивали с вином, называя то глупое действие *"Дионисовым Действом"*; называли тогда имена литераторов, даже философов; и — разумеется: В. Иванов дал формулу для оправдания *"пошлости"*; был возмущен; не ходил я на *"среды"*; З. Н. выговаривала почтенному идеалисту:

—Не стыдно вам было присутствовать? Когда модная литераторша басом запела гимн к радости, заведя хоровод, — не ушли вы?

Философ сконфуженно тупился: он не участвовал — только присутствовал...

— Правда ли, — издевалась З. Н., — что В. В. распалился, воспользовался потемками и схватил миловидную поэтессу за кончик ботинка?

Я думал: вот здесь совершаются *"действа"*, а там *"Балаганчики..."* В. Иванов казался абстрактным профессором, силящимся стать *"козловодом"*[25] беспутицы.

Дружил я с Т. Н. (или — с *"Татой"*), бывавшей у Блоков, и — понимавшей меня; и З. Н., и Т. Н. я рассказывал о стене между мной и А. А.; З. Н. очень близко входила во все; говорила:

— А?.. Видите: ваши *"радения"*, и безгласность у Блоков — к чему привела? Говорила я: *"где-то"*, *"что-то"* — к добру не ведет.

Начинал ей внимать: отчужденье от Блока перерождалось в желание: агрессивно напасть.

И З. Н., и Т. Н. наблюдали растущую дружбу с Л. Д., и — расспрашивали, принимая все близкое мне; в З. Н. Гиппиус жила жилка *"матерого"* агитатора; ей хотелось привлечь Л. Д. к кругу идей их; *"Блок"* — виделся безнадежно далеким; Л. Д. возбуждала надежды; обратно: Л. Д., оказавшая резкую оппозицию идеологии Гиппиус, стала меня о ней спрашивать; заручившись согласьем З. Н., предложил я Л. Д. — отправиться к Мережковским; Л. Д. согласилась; и назвала З. Н. — "Зиной"; А. А. — показалось мне — был недоволен; но он, подавив в себе чувство, спокойно нас выслушал; выраженье, которое в нем не любил, промелькнуло-таки; не понравилось в нем противленье. Поставил я цель: расширять круг общений Л. Д., жившей замкнуто, только для *"Саши"*, а здесь, в этом быте — сомнительные бесенята: и быт мне казался болезненным миром болота, *"Фиалки ночной"*, отравлявшей А. А.

Это все произвел *"Балаганчик"*; в мире душевном есть *"Блок"*; после — нет!

. . . .

Уже яснели слезливые просини первых весенних деньков; просияли капельные слезы; и Петербург — улыбнулся; мягчайшею, ранней весною; под пенье капелей Д. С. Мережковский, малюсенький, в шапке бобровой (я помню на Невском его) мне показывал вешние нити серебряных облачков:

— Уже весна.

Собирался с женою в Париж он, продавши "Трилогию" *Пирожкову* (я слышал в те дни от него: "Пирожков, Пирожков... Я пойду к Пирожкову..."

И вот с *"Пирожковым"* устроилось); был Д. С. весел: насвистывал в комнатах; и выбегал на Литейный, на Невский — глядеть на весну; дома часто впадал он в игривость: и пришедшего Е. П. Иванова встретил он рыком:

— А... вот и *"рыжак"!*

И, подталкивая на диван, он дразнился:

— Рыжак-рыжаком...

Мы с З. Н. выходили на Невский (она вдруг взлюбила прогулки): лорнировала проходящих, и — покупала букетики синих, весенних фиалок.

А дни — бриллиантились, в слезы пустились; расставились лужицы, и мостовая из белой вдруг стала коричнево-бурой.

В такой-то денек я заехал за Блоками (будто они не умели приехать); считал своим долгом! и собственно: вовсе не *"их"*, а Л. Д. (А. А. часто бывал у З. Н.); из одной атмосферы в другую — в сопровождении недоумевающего А. А., который от нас запахнулся в *"экзамены"*.

Надоело выслушивать: "Саша... экзамены... Сашин экзамен..." С пренебрежением думал:

— Вот невидаль: *"Сашин"* экзамен... Устраивают мировое событие из экзамена... Все мы держали; и не ходили с *"экзаменом"*, точно с торбой.

Обращенье к экзаменам "Саши" во мне вызывало:

— Ах, обращаются, как с тюком.

И я, каюсь, я звал про себя его:

— "Тюк..."

Я думал:

— А этот бы *тюк* да встряхнуть!

Я не видел, — пассивность А. А. происходила от вовсе иного: терял веру в жизнь; рассеянность, хмурость, далекость — впоследствии оказались: анестезией страдания; стал удаляться к *"калекам"* и к *"острякам"* "Незнакомки". И да: истекала душа его — кровью; когда бы нашелся в те дни кто-нибудь, кто сумел бы внушить ему бодрость, последующие года не протекли бы так; разочарования двадцатых годов не унесли бы его! Я был близок к нему; и — не понял его; и все делал, чтоб боль его сделать острее; и присыпал к его ранам лишь соль; о, естественно:

Что же на свете приятней,
Чем утрата лучших друзей?

С ограниченной тупостью я тащил к Мережковским его, — на буксире: среди золотистых капелей; в двух саночках, стукающихся о выступавшие камни, тащился медленно у Литейного Моста; я — спереди; сзади — Блоки; Л. Д. — возбужденная, а А. А. — лишь скучающий, что могли Мережковские рассказать его жизни? Я помню, что я обернулся на эту столь разную пару; Л. Д. помахала мне муфточкой; А. А. сидел грустный: отчетливый, розовый профиль его (розовеющий в солнышке), нос и лицо, напоминающее мне теперь не зарю, а лицо озаренного, скорбно-ущербного месяца; и большая, бобровая, очень пушистая шапка тенила глаза; я махнул им рукой; А. А. криво совсем

обернулся. Ухаб: и — подпрыгнули; нос убежал в воротник, точно месяц ущербный под облаком.

Слово *"ущерб"* определяет мое впечатление от него в эти дни; что-то лунное в нем подчеркнулось; казался черствее и суше: поджатый, ущербный; не элегантен он был; и не розовым — желтоватым казался; он маску носил на лице острой боли, которая сопровождала стихи им написанные в период писем о Канте и страхе[26]: "За желто-красную листву уходит месяца отрезок... Как бледен месяц в синеве... Как там качается в листве забытый, блеклый, мертвый колос..."[27]

Таким блеклым, забытым и мертвым — сопровождал он Л. Д.

. . . .

Замечателен месяц в *"Нечаянной Радости"*; он — отрезок; он — серп, искривленный, ущербный:

Вот — сидим с тобой на мху
Посреди болот.
Третий — *месяц наверху* —
Искривил *свой рот*[28].

Или:

Ты оденешь меня в серебро,
И, когда я умру,
Выйдет месяц — небесный Пьеро,
Встанет красный паяц на юру[29].

Или:

Круторогий месяц щурится вверху.

Или:

Кто там встанет с *мертвым глазом*
И серебряным мечом?

Или:

Месяц по небу катился — зловещий фонарь.

Или:

Лазурью *бледный месяц плыл*
Изогнутым перстом.

Всюду — щурый, изогнутый, перекривленный и мертвый гримасник: таков этот месяц; а то же, что под ним, то есть — чувственность:

Лазурью бледный месяц плыл
Изогнутым перстом.
У всех, к кому я приходил,
Был алый рот крестом.
У женщин взор был тускл и туп

И страшен был их взор:
Я знал, что судороги губ
Открыли их позор...
. . . .
Меня сжимал, как змей, диван,
Пытливый гость, — я знал,
Что комнат бархатный туман
Мне душу отравлял[30].

Этот лейтмотив месяца стихотворений А. А. — все срывающий скепсис, подозревающая человека улыбка, граничащая с издевкою, и впечатление от него самого того времени — впечатление от ущербного месяца: деланная улыбка, зеленоватый оттенок мутнеющих глаз, мной подсматриваемый сквозь налет равнодушия (Ну — избил бы, ну раскричался бы лучше!).

Таким я подметил А. А., подъезжающим в саночках к дому Мурузи; заранее он отравил мне всю радость знакомства Л. Д. с Мережковскими: не было еще знакомства, а он — *"искривил"* свой рот.

И к стыду своему я в себе уловил прилив бешенства к этому *"рту"*.

Появились втроем мы в гостиной; З. Н. в белом платье (скорее в подряснике) там пышнела уже рыже-розовыми кокетливыми волосами, затянутыми ярко-алою ленточкой, несколько официально оглядывала через взлетевший лорнет; вот упал он от глаз; улыбаясь, пошла к нам: Л. Д. даже как-то рванулась навстречу; взяв за руки, сели рядом, озаренные красною вспышкой камина; его растапливал, перекаляя в нем щипчики; занял обычное место свое у огня, забавляясь развитием красного газа. А. А., — сел вдали: сел в тени; не желая вступать в разговор, он отсиживал; я молчал, чутко вслушиваясь; слышались ленивые фразы З. Н. :

— А... скажите...

— А... как же...

— А... Боря рассказывал...

Разговор принял дружественное течение; я удивлялся: естественна встреча; и думалось, глядя на Блока:

— Чего ты такой ?

Он — тенел, выступая лицом, восковым, точно мумия; и я подумал, поглядывая на З. Н. :.

Петуха ночного пенья.
Холод утра. Это — мы[31].

Если бы знал я те строки, которые скоро напишет А. А., я бы их процитировал — в применении к нему:

Ночь глуха.
Ночь не может понимать —
Петуха[32].

Непроизвольным движением (от нервности или досады) я выхватил из камина щипцы, повернувшись в полуоборот и взмахнул ими в сумерках;

увидавши сияющий белый зигзаг раскаленного, пахнущего угаром металла, Л. Д. вдруг схватила за руку З. Н.:

— Посмотрите...

— Что делает...

— Остановите...

Чего испугалась? Засунул щипцы в раскаленные уголья; и — отошел; явился Д. С. очень-очень любезный и милый (как будто бы светский): как будто пришел *"Пирожков"*[33]. Д. С. часто, впадая в рассеянность и натыкаясь на дам приходящих к З. Н., — удивлялся: откидывался, стеклоокий, холодный и — спрашивал:

— Вы? Зачем?

И выходило:

— Как жаль!

В этот день был Д. С. прелюбезен.

Но все обращались к Л. Д., — не к А. А.; было ясно, что "Блок" не при чем: никому он не нужен; и *"нашим"* не будет ("Мы — ваши, вы — наши!")... Он сам это знал, покоряясь печальнейшей участи: ущербляться у стенки, досиживать, чтобы потом удалиться; и, отсидев, удалился.

З. Н. говорила потом о Л. Д.:

— Удивительно женственная натура она...

И Д. С. все похаживал:

— Да, что-то есть в ней...

И, кажется, выражал свою мысль: Л. Д. *действие* нужно; она — в *созерцании* (а под *действием* разумел он, конечно же, — *новое религиозное действие*), долженствующее открыться в кругу *"сознающих"*, иль *"Зины"*, *"Антона"*, и *"Димы"*: но *"Зина"*, *"Антон"* или *"Дима"* *"писали"* в газетах и *"прели"* в собраниях; Л. Д. надо бы было скорее "взопреть": в заседаниях Религиозно-Философского О-ва... Поговорили с часок о Л. Д.; и *"взопрели"* на темы серьезные, об А. А. и не вспомнили.

Ты оденешь меня в серебро,
И, когда я умру,
Выйдет месяц — небесный Пьеро —
Встанет красный паяц на юру.

. . . .

На другой уже день пред разложенными сундуками, запихивая в сундуки переплетенные книжечки со стихами, флаконы духов, связки рукописей и изящные ленточки, З. Н. снова говорила о *"Блоках"*; просила писать ей.

. . . .

Уже проводили Д. С. и З. Н. на Варшавский вокзал[34]; Д. С. ехал в теплейшей, енотовой шубе, хотя разливала потоки весна (он боялся — простуды, заразы, пылинок: потом — революции); только в вагоне одел он пальто; с Мережковскими выехал и Д. В. Философов. Я же, *"Тата"* и *"Ната"*, и, кажется, Карташев — провожали.

И — опустело: мы зажили в *"Таты-Натиных"* комнатах; стало в гостиной уныло; и нянюшка, Дарья Павловна, надев на нос очки, обходила

квартиру; ходил Карташев; Ната насвистывала духовные песни, работая над резною скульптурою; да: хаживал тоже художник; и он — заикался.

Раз даже обедали вместе (А. В. Карташев, *"Тата-Ната"*, я, Ремизовы) — в кабинете у Палкина; пили вино; и А. В., приподнявшись, стакан протянув, вдруг запел своим тенором, в пении закрывая глаза, точно птица: *"Вы жертвою пали в борьбе..."* А. М. Ремизов предложил поводить хоровод; мы, смеясь, поводили; потом — заходили сниматься: снялись; дней через десять уехал я[35]: где эти снимки — не знаю.

Слишком поздно!

Да, решительный разговор! Но о чем? *"Балаганчик"* — не в нем только дело, а в том, что в словах между нами ни разу и не было сказано, что носилось вокруг "атмосферой" без слова, в ритмическом обереганьи друг друга во имя единого Главного; перед какою-то темой ходили мы оба — ценнейшей, которую мы должны были некогда осуществить на земле; так, команда фрегата, осуществляет различные функции, в конечном итоге все функции способствуют плаванью; гордый фрегат пересекает опаснейший океан; и — приближается к Новому Свету; матросы команды во время пути могут ладить друг с другом; и могут поспорить они; это — частное дело; их общее дело какие-то производить очень разные действия (так: один измеряет глубины, другой — смотрит в трубку, а третий просмаливает канаты; четвертый — стоит у руля); в результате же разнообразных и видимо вовсе не связанных служб совершается общее дело: корабль продвигается.

Да, возникшая непроизвольно *"коммуна"* — А. А., я, Л. Д. и С. М. Соловьев. Мы с С. М. добровольно избрали А. А. капитаном; Л. Д. оказалась по нашему мнению (уже потом) очень-очень талантливой капитаншей; С. М. ее прочил в начальницы; произошло вдруг смещенье команды; и в результате: С. М. нас покинул; теперь уже я обнаружил подмену пути, в результате которого произошло столкновение; обнаружена течь, от которой — корабль погибает; а *"капитан"* называет событие это — *"Нечаянной Радостью"*; я все стараюсь пред ним обнаружить ошибку; а он — запирается, предоставляя нас участи; я — произволом захватываю от отчаянья власть над командным составом; я — силюсь спустить прямо в воду спасательные баркасы; теперь предлагаю настойчиво сесть пассажирам (Л. Д.), пока можно спастись. Меня спрашивают: "А капитан?" Я бросаюсь к каюте, в которой сидит легкомысленный капитан, начинаю ломиться в нее; дверь — заставлена, как нарочно, какими-то совершенно ненужными тяжестями и "тюками" ("тюки" государственные экзамены "Саши").

Вот как символически изобразил бы я суть создавшегося положенья меж нами троими.

Не важны совсем и те личные отношенья, какие теперь обнаружились; меж капитаном и мною могли быть нежнейшие дружбы, могли быть сквернейшие свары; нежнейшие дружбы и скверные свары для общего корабельного

Отвечаю:

— Газета мне нравится.

— Как относитесь вы к Жоресу?

— С большим уважением.

— Знаете, он ведь — сосед наш: за завтраком. Эти дни его нет; вообще же заходит сюда пред Палатою, потому что жена переехала в Тарн; он — один: предпочитает сюда заходить, чем есть дома.

Вмешался хозяин: мосье Жорес — будет завтра.

На следующий день мне соседка показывает, — на окно:

— Вот — Жорес.

И вижу: в окне пробегает плотнейший мужчина в небрежно надетом пальто, в котелке, как-то косо сидящем, размахивая короткой рукою с огромнейшим зонтиком; из кармана пальто — пук газет; появляется в комнате и с усилием снимает пальто; потирая руками, с поклоном садится к нам (рядом с соседкой) — уткнуться в газеты, пока не дадут ему есть. Так сидели — два месяца (все же другие сидели за столиками: общий стол пустовал).

Познакомились — в тот же день; ежедневно беседовали; когда было мне нужно узнать что-нибудь от Жореса, я с соседкою начинал разговор (по-французски); Жорес сидел рядом в газетах, которые он с собой приносил, перевязанный белой салфеткой, откидываясь и устремляя голубовато-зеленые глазки в окно: катал катышки хлеба; бывало, начну говорить: то, мол, это... И он — не удержится: поднимет свой нос из газет, или, скомкав салфетку, так кряжисто перегнется, уставится, скрипнет стулом:

"Et bien, vous — croyez..."[185]

И — поставит вопрос, другой, третий; глядишь — и пошел говорить; и мне, нужное мнение — ясно... Многое так узнавал от него: например, — полагал он, что русские не обладают практическим смыслом, что эмиграция — не производит хорошего впечатления, что церковный вопрос отделим от проблемы религии, ту проблему Жорес допускает, считается с нею; религиозные убеждения — уважает; церковные организации это — дело другое; он не любил выражения *"социал-демократия"*, и всегда поправлял:

— Socialistes, — говорил он.

Выспрашивал о духовных теченьях России и о писателях (записал в свою книжечку переведенные томики Мережковского; и потом мне сказал, что — прочел); говорили о Метерлинке, которого находил он туманным, предпочитая ему драмы Гауптмана; уважал старых классиков; и считал: социалисты должны быть хранителями литературных шедевров; меня поразила умеренность в его взгляде на допустимую границу преобразований в России. И создалось впечатленье: я был — лев для него.

— Если б ваше правительство остановилося на кадетской программе, не думаете ли, что в России вся жизнь изменилась бы радикально?[186]

Я потом его видел — политиком, осторожным (в беседе с Аладьиным[187], с Мережковским, которого познакомил я с ним); но со мной он был прост, полагая, что я не *"газетчик"*, а просто *"jeune homme"*[188]; он ко мне относился

с симпатией; даже с сердечностью (это сказалось, когда заболел); было что-то простое в манере: любил нам рассказывать о животных.

На ломаном языке рассыпался в тирадах я; и удивил же хозяин отеля, сказавши, как раз уходя, Жорес — похвалил меня, тут же прибавив:

— Он, знаете ли, — прирожденный оратор.

Не понимаю, откуда же мог заключить это он; все меня поправлял:

— Le partie politique[189]: "le", — не "la"...

И запомнилась: крупная голова, эта серая борода, коричневатые, загорелые щеки; никто б не сказал, что он — лидер, политик (ходили в Палату испытывать наслаждение от созерцания поединка: Жорес — Клемансо[190]); он — казался профессором, каким был[191]*; раз узнав о моих устремлениях к Риккерту, стал осторожно производить мне экзамен; остался доволен характеристикой Ренувье[192].

Эти встречи могли бы быть целой главой[193]; здесь — не место; скажу лишь: знакомство с Жоресом оставило незабываемый след; был такой он прекрасный, весь — крупный.

Однажды привел он Аладьина: я наблюдал, как Жорес изучает его.

На другой день спросил:

— Как понравился?

— Да, признаться, не очень...

— Я вас понимаю, — уткнулся Жорес в свое блюдо; и застучал он ножом, одолевая "lapin"[194].

. . . .

Мои дни начинались прогулкою по Булонскому лесу; работал — до завтрака; разговоры с Жоресом; работа, прогулка опять; к четырехчасовому чаю — у Мережковских: сидел до семи (с З. Н. Гиппиус чаще); и — возвращался обедать; а вечером — у Мережковских; или — работа, театр.

. . . .

Тут вот нервы сказались: болезнью; и около месяца пролежал (разрезали)[195]; я не забуду: сердечного отношения Мережковских: они отходили любовью меня. Выздоравливающий, снова вчитывался в образы *"Нечаянной Радости"*, развернувшиеся в большую картину — о, большую чем выражала написанная заметка для *"Перевала"***.

Образцы второго тома стихов

Вовсе новый ландшафт, не предвиденный тихим окраем дорог, проводящих чрез первый, разобранный том. Озаренный в конце осеннеющим небом: *"О край неизвестных дорог... Здесь горит осиянный чертог"* — золотой, сентябреющий; *"Светлая в мире пора"* — начинается новый этап — *"Тишина умирающих злаков"*, иль тот же сентябрь; от июня течет первый том; и *октябрь* — центр второго.

---

* Профессором философии.

** Ее привел выше.

Лишь в тоне золота пересекаются томы; но золото — разное; в первом — воздушное; и застывающее металлами, тканями — во втором; так *"окрай"* осиянных дорог здесь лишь — занавес; на нем крупные надписи: *"Золотистая осень разлук", "Золотая порфира", "Осеннее злато", "Золоторунная грусть"* и *"Тяжелое золото";* занавес — стилизован: и нарисованы: облако золотое — *"шишак";* солнце — *"шлем воина";* много металлов; обилие меднобронных доспехов: здесь — шлемы и латы; щиты и мечи; в первом томе щит — *"солнце завета";* мечи же — *лучи;* здесь обратно: и солнце → *"шлем воина";* и — *"закат оловянный";* и месяц, как *"шлем";* снова — *"шлем", "шлем", "на шлемы";* опять — из-под *"шлема", "шлем воина"*. Сколькие *"шлемы"*?

И — сколькие *"латы", "щиты"* и *"мечи": "щит", "к щиту", "щит упал", "меч", "мечи", "лат", "в...кольчуге", "в доспехе"* и *"латы"* и...; и — так далее; сколько доспехов! Где рыцари? Спят: неподвижно; один прислонясь *"к щиту... увязил долговязую шпору";* и —

Чуть блестят *золотые венцы*
Скандинавских владык[196].

Вот недвижные *"латы"*, а обладатель их — *"статуя"*.

Все — нарисовано: *"злато"* есть занавес, отделяющий том второй от *"межи золотой в бездорожье";* дорога уткнулася здесь в бездорожие, но в ином вовсе смысле; дорога — пространство; а занавес — плоскость; пред ним медногласый оркестр: много меди; само слово *"медь"* повторяется: *"медный", "медь", "медью"*, и это оркестр: *"медь" — "поет";* и опять: *"голос меди"; "скрестила мечи"* — звук литавров: фанфары; фанфарные выраженья (они пропадают; они — увертюра пред действием): *"Волосы ночи натянуты туго на срубы и пни";* тоже: утро — *"пустило стрелу";* и *"вечерняя прелесть"* аллегорически *"увивает"* вечерние *"руки"*, а *День* (с большой буквы) аллегорически их заламливает; появляются трубачи *("черной ночи");* читатель: великолепнейший латоподобный закат, *аллегория* занавеси — быстро взлетит: пропадет *"голос меди"; "трубач"* — перестанет играть; и *ландшафт* нам предстанет за занавесью.

Вот и взлетает: *"где золотистая осень разлук?"* Пролетела, отвеяна? Солнце, *"шлем воина"* — где? Оно убрано: вот так закат! Он — полоска; такой вовсе не было; здесь: —

— *"полоскою алою", "на полоску зари", "на закате полоской" "полоска зари", "полоса"* и опять: *"над полоской";* и — далее. —

— С этой *полоски* зари — начинается действие; *"медные светы"*, аллегорически скрещенные с *мглы мечами,* живые для первого тома — исчезли с подъятием завеси; ново для Блока (совсем неожиданно!) — нет ни света, ни тени: одна светотень; и проходит одно слово в книге; и — *новое: "серый";*

серы —

— Что не серо? —

— Серы: паруса корабля, в *сером* сне маяки, прибережные камни, *"чело":* в *сером* вечере, в *сером* дне, в *сером* утре и в городе, где — все прохожие *серы,* где *серая* пыль, пыльно-*серая* мгла, даль — *сера,* потому что и небо *серо,* дождь

— ни белый, ни черный, — а *серый;* и он прибивает лишь *серую* пыль; "*дымно-сизый* старик оперся на костыль"; и "на *серые* камни ложилась дремота"; и мир — "злая" *просерень:* "на всем... *серый* постылый налет". Слово серый настолько отсутствует в первом томе, что, помнится, появление слова меня поразило:

День был бледно-серый, серый, как тоска...
Вечер стал матовый, как женская рука[197].

Оно — всюду: не плоскость — пространство; и сквозь него-то — цвета; "*серость*" только налет на... опять новой краске для Блока; так много ее: цвет — "*зеленый*"; и "*серое*" — *серо-зеленое;* "*серое*" — в воздухе; "*зелень*" же — твердости; и "*зеленый*", как мир: оно — всюду: — конечно же "*зелены*" травы; конечно же "*зелены*" — весны, как и всегда у поэтов; и "*луга*" там и "*рвы*", и "*глаза*", но сравнительно реже — "*зеленые кудри*", "*зеленые* колпачки"; не бывает *зеленых* цветов; а у Блока — бывают: "*зеленый* цветок"; даже твари — "*зеленые*"; выпархивает "*зеленая*" искра, и месяц — "*зеленый*", "*зеленые*" волосы; "*зелень*" — не зелень растительности: свет "*зеленый*", выкидываемый *серым* миром: "*зеленые*" сумерки и "*зеленая*" мгла; эта мгла повторится: "в *зеленой* ласкающей мгле"; горят светотени "*зеленым огнем*": да, *зеленый,* но — огненный мир; оттого-то — "*зеленый как мир*".

Вглядываясь, открываем мы *третий* оттенок, опять-таки *новый,* — "*лиловый*"; где он в первом томе? А здесь: —

— "Свет *лиловый*", "*лиловые* скаты оврага", "лиловые сумерки"; дважды: *лиловый* цветок, "*фиолетовый* запад", — вот сколько *лиловостей!* —

— *Серо-зелено-лиловое!* —

— Вот что впервые встречаем, когда поднимается занавес, изображающий "*золотистую осень разлук*"; *золотое* становится: *серо-лилово-зеленым.* Не смейтесь: цвета у поэтов — суть души: недаром же Гете всю жизнь создавал световую теорию; стало быть: *серо-лилово-зеленое* есть выражение мира души.

Он — таков, как ландшафт; это *серо-лилово-зеленое* складывается в болото; "*болото*" — четвертое новое слово: болота, болота! Мир прели и ржавчины! Мшистые кочки и мшистые пни; не сюда ли сбежал он с горы? И — сказал:

"Мое *болото* их затянет".

Затягивает — в "*Нечаянной Радости*": что за болотное место!

Смотрите же: —

— "Небо упало в *болото*", "и пахло *болотом*", "сижу на *болоте*", "*болотное* зелье", "*болотная* дрема"; и вот: "на *болоте*"; опять: "на *болоте*", "в *болото*", "*болото*", "*болот*", "по *болоту*" и "над *болотом*", "в *пучине*" — болотной, конечно; едва вылезаешь из "*тряского*" места, которое называется "*пузырями земли*" —

— но куда?

В том и сила "болота", что — некуда деться; из "*серого*" города мы убежали; ведь небо там, по выражению Блока —

— устав прикрывать поступки сограждан моих, упало в болото —

— коль небо над городом падает, сдернувшись, в эти *"болота"*, — не в город же? Правда, есть земли, но — посмотрите, какие! —

— пустынные, мерзлые, жесткие кладбища; *"скудной глины"*...
пласты; опять-таки, — *комья;* и не поднять их плугами; так
не туда же? —
— Но море есть: ну-ка, попробуйте к морю?

"Там буря застигла суда моряков"; и потоптавшись, — приходишь к *болоту;* и снова: *"с болотами"*, *"над болотом"*, *"болотный"*. И — шествуешь далее; флора болотная: пни, кочки, мох: *"пни"*, *"над кочкою"*, *"кочки и пни"* и *"от кочки до кочки"*, *"мху"*, *"мохом"*, *"мхов"*, *"замшенный"*; замшенное — все; и *"окрестности мохом завалены"*; преет, ржавеет: метанные запахи! *"Гниль"*, *"плесень"*, пруд *зацветает;* и — *"ржавчина"*, *"ржавую"*, "в... *ржавом*"; страшно то, — что: это — аура душевного мира; еще хорошо, если плесень — на дереве, если ржавчина — травы; но — нет же: *"в тайник души проникла плесень"*; "исторгни" — он молится — *"ржавую душу"*.

Так *серо-лилово-зеленое,* складывая *болото,* бросает угар испаряемых газов, который ему представляется запахами *"лиловой"* фиалки; и он, одурманенный запахом газа, вещает *"в зеленой ласкающей мгле"* (в отравляющей мгле):

Слышу волн круговое движенье
И больших кораблей приближенье,
Будто вести о новой земле.[198]

В результате же он признается, что *"плесень"* проникла уже в тайники его жизни; и, стало быть, прав был и я, когда Блок, уведя меня, взяв меня за руку, начал рассказывать миф о *"лиловом цветке"*, за которым пошел он... в *болото;* как газом угарным, пахнуло тогда на меня! Мне бы, — звать его, с места сорвать; не подступишь, когда он уселся на кочке; и — стал проповедовать: *"Мне болотная схима — желанный покой";* и читать с кочки проповедь: "Полюби эту вечность *болот*". Если б стал его звать, про меня написал бы:

Когда он исчез за углом,
Нахлобучив картуз,
И оставил меня одного
(Чем я был несказанно доволен)...

Прогнал бы, отправясь в избу:

Так сижу я в избе,
Рядом — кружка пивная
И печальный владелец ее.
Понемногу лицо его никнет,
Скоро тихо коснется колен,
Да и руки, не в силах согнуться,
Только брякнут костями,
Упадут и повиснут.

Кто, кто это?

Этот нищий, как я — в старину,
Был, как я, благородного рода
Стройным юношей...

А теперь?

Вот обрывки одежды его...

Но, позвольте, к чему тут *"как я, — в старину"*, *"был, как я"*; ближе к делу, без всякого *"как"*, потому что тот нищий есть "я", о котором (себе) говорит он:

"*Нищий*, распевающий псалмы".

А обрывки одежд его, — *аура* прошедшего:

Жалкие крылья мои —
Крылья вороньего пугала.

Это — двойник, издавна убегавший с горы — на болота, себя самого подозвавший туда, усадивший на кочки себя, с собой слившийся, так что действия двух половинок сознанья, — одно теперь; и наблюдающий засыпанья другого становится — спящим, другим:

Цепенею и сплю.

И во сне *исповедую* теософию *ржавого* места:

Болото — глубокая впадина...

Впадина — небезопасная (есть такие: пифийская щель[199], например): газы болота (метаны) — вонючи; они-то и есть *"пузыри"*; Банко с Макбетом, здесь проходя в старину, увидали хохочущих ведьм; но не сели на кочки: прошли, обратясь друг ко другу:

Земля, как и вода, содержит газы,
И это были пузыри земли[200].

"Пузыри" — пар болотный; отсюда туман покрывает страницы *"Нечаянной Радости"*; слово — туман так же часто, как *"серый"*, *"зеленый"*, *"болотный"*: туманы, туманы,

— туманы сознанья: —

— *дым* "с пруда", *"туманов"*, *"туман"*; иль: "с *туманом*", *"туманные* полосы", "расточала *туман*", *"синим паром"*, в *"туманах"*, *"туманной"*, *"туманов"*, *"в тумане"*, "*я в туманах* бродил", "сквозь *туман*", "извечно *туманны*", *"туман"* и — *"туман"*. И — так далее: сколько угодно тумана; и — воспрошает с тоскливостью: "Кто рассеет *болотный туман*", потому что он чувствует: это — *"зловещий... угар"*. Здесь Макбету и Банко являлися — *ведьмы;* и Блок здесь увидел старуху: *как мир стара, как лунь седа. Никогда не умрет, никогда, никогда*"; и за ней — свита нечистей, элементар-

ных стихий, или — нитей судьбы, передаваемой в руки тому, кто вперяется в образы *Лиха;* да, "*Лихо*" есть участь; старуха же — Парка: она представляет сознанию образы подсознания, чтоб человек мог прочесть свои *темные* корни, которые отрезают от зорь; тут — порог меж иными мирами и нашим; до этого места ведут, как дитятю; а с этого места — бросают; сознанию предлагается: прочитать знак судьбы. И Макбет здесь, прочел: нет опасности; не пойдет, в самом деле, —

Бирнамский лес
На Донзинан.

Но пошел-таки "*лес*"; да, "*леса*" — сходят с места стремительно: в миги судьбы; и леса — подсознание; в "*зорях*" — вершины встают Древа Жизни; в болотах видны обнаженные корни, сосущие влагу из недр: корни — карлики, чертенята; Блок видит их:

— "*Нежить* вод", "*чертики*", "*попик болотный* виднеется", "*старикашка*... запрыгал на пне", "собрались *чертенята и карлики*", "*кувыркаются, поднимают копытцами пыль*", "*страшный черт ухватил карапузика*"; "*слышен зеленый двойник*" (или бледно-зеленый): восставшее подсознание "*розово-золотого*" поэта; невидим, неслышим он в нас до явленья Старухи; и после он — слышен: "В полях отвечает *зеленый двойник*" и "гуляет в полях *Невидимка*", "в полях хохотал *Невидимка*"; звук колокола: "Страшный *колокол* будет вам петь", — "над болотом — *проклятый звонарь*". Этот темный звонарь с нами связан: груз прошлого чувствовал тяжестью Блок ("это — внутренний "*тюк*" его"); он в работе над ним, будет час, — и запросится к свету:

Скоро... чертик запросится
Ко святым местам.

А пока он — "звонарь":

Я узнал тебя, черный звонарь.

"*Звонаря*" ощущали с С. М. Соловьевым и мы в роковое, тяжелое, революционное лето, когда все друг в друге не видели рыцарей, видели — призраков; мне С. М. все твердил полюбившееся двустишие:

Берегись, берегись, — над Бургосским путем:
Сидит один *черный монах*...

Тот монах, над путем восседающий, — рок; когда чувство присутствия рока в С. М. подымалося, он — приходил: и, вперяясь в меня, говорил одно слово:

— Бургосский!

Он — "*черный, болотный звонарь*". Но А. А. не всегда понимал степень грозности появленья "бургосского" (связанность нечисти — с *ним*), потому что

"бургосский монах", про которого говорил он и прежде (*"мой страшный, мой близкий — черный монах"*) превращается в *"черного попика"*; и А. А. вместе с нами повторяет: *"душа моя рада — всякому гаду"*; о, — легкомысленное отношение к собственным *"недрам"!* Оно — и после скажется при появлении Командора[201] и Темного Сэра[202]; "бургосский" приходит позднее: с расплатой за *"игры с ним"!*

Катастрофа, увы, — не до дна потрясает поэта; и оттого-то она — не до дна и минует его; и становится — затяжной катастрофою, выражаяся — в лейтмотивах *"Возмездия"*[203], над которым скончался поэт.

Банко с Макбетом после явления *"ведьм"* порешили:

Земля, как и вода, содержит газы.
И это были пузыри земли.

К сожалению — нет; образ *"ведьм"* вызывает тот пласт подсознанья, который отныне сопутствует: это *"стихии"* в нас; Макбет отдался им: ведь не пойдет же, в самом деле, —

Бирнамский лес
На Донзинан.

Он — пошел.

Блок считает, что образы попиков лишь *"поседелых туманов развалины"*, или, быть может, переработка от восприятия альбомчиков Т. Н. Гиппиус, рисовавшей в огромном количестве "попиков" (знаю я: те альбомы А. А. с удовольствием долго рассматривал, очень любя их; и после уже появились в стихах его все персонажи набросков Т. Н.); не увидел до дна все *"неспроста"* в сложении дымки туманной так именно, как слагалась она в его мире души; это *"плесень"* — не только болотная:

В тайник души проникла
плесень.

И все потому, что Она *"отошла без возврата"*. *"Закатилась Ты с мертвым Твоим женихом"*; наступила *"зеленая мгла"*. "Будь ночлегом, зеленая мгла"; и *"болотная дрема...* текла". Банко с Макбетом, — скоро выходят из места туманов; А. А. — сел на кочке: *"зловещий угар"* здесь поверг в очарованный сон, где пути достижения подменились лишь грезой о прошлом: "Мы прожили долгие жизни", "в старину был, как я, благородного рода"; сердце *"прошлому радо"*, достоинство прошлого (рыцарство) — здесь, в этом томе, музей: лат, мечей и щитов; не наденешь их сызнова: *"Миновали сотни и сотни лет"*, *"плакал... о том, что никто не придет назад"*; *"нить какая-то развязана, сочетавшая года"*. Но отсутствие прошлого есть испытание: прошлого не было; прошлое — только стремленье к духовному миру; вход — в нас: через встречу с *"бургосским"*, победу над ним; но А. А. — отступает в картину воспоминанья того, чего не было; это — лохмотья былого, иль *"крылья вороньего пугала"*; рыцарский шлем есть колпак, и шишак — бубенец; и *"я*

нищий бродяга"; я — *"забинтован тряпицей"* (мотив *"Балаганчика"*), *"душу разбил пополам"*,

Или я, как месяц двурогий,
Только жалкий сон серебрю,
Что приснился в долгой дороге
Всем, бессильным встретить зорю?[204]

И потому-то:

Тащитесь, траурные клячи!
Актеры, правьте ремесло,
Чтобы от истины ходячей
Всем стало больно и смешно[205].

Здесь — разбросан туман; проступает везде обыденность, которой ведь не было в *"золотистой лазури":* туман — не рассеялся; наоборот: он — сплотнился; "бургосский", неузнанный стал вороватым хозяином, сдавшим квартиру с такими сквернейшими стеклами, что, как посмотришь, увидишь лишь: *"Стены фабрик, стекла окон, грязно-рыжее пальто"*, иль *"ко всему приученный... диск"*, *"вереницы зловонных телег"*, или — *"складка рубашки"* и *"серый постылый налет"*, *"углами... мебель... окурки, бумажки"*, *"опрокинутые кадки";* природа — такая же: *"Над равниной мокрой торчали кочерыжки капусты"*, *"на пригорке лежит огород капустный";* словом *"лес"* прозаической неподвижности: он — не пойдет: —

— Бирнамский лес
На Донзинан.

Он — пошел: в *"Страшном мире"*[206].

Не знаю болезненнее, иллюзорнее прозаического реализма, здесь, там выступающего из тумана *"Нечаянной Радости";* да, *"прозаический реализм"* — сам туман: ноты пьянства: "сижу я в избе. *Рядом — кружка пивная";* "гадалка... швырнет... свой *запой*"; "буду слушать голос Руси *пьяной, отдыхать под крышей кабака*"; "и *пьяницы*, с глазами кроликов, "In vino veritas!" кричат", "ты право, *пьяное* чудовище! Я знаю: *истина в вине*"; "взволнованный *вином*"; "и на щеке моей блеснула, скатилась *пьяная слеза*"; "авось ты не припомнишь мне, что я увидел *дно стакана*", "*топя отчаянье* в вине"; "*у пьяного поэта* — слезы, у *пьяной* проститутки — смех" и т. д.

Надо всем поднимается веянье омертвения; смерть, — тема тем: —

— мертвенеет пейзаж:

"*Мертвый* месяц беспомощно-нем... Знаю — сморщенный лик его стар"; "Мне привиделась *Смерть*"; *"похоронные звуки... часов"; "смерть* летит"; месяц встал *"мертвым глазом";* и *"смерть пришла";* "старость *мертвая*"; даже земля: обнажает лишь *"кладбища";* злак тоже — *"мертвый";* глаз — *"мертвый";* и — мертвый опять; *"даже рифмы нет короче глухой, крылатой рифмы: смерть"*. Эта мертвенность — в нем: "Ты оденешь меня

в серебро и когда я *умру*..."; *"мой саван плотен"*; "кто у *гроба* в час закатный?"; "слаще боль и *ярче смерть*"; "дай мне спокойно *умереть*"; "я буду *мертвый*"; "*мертвец* — впереди" и т. д.

Смертью кончаются темы *"Нечаянной Радости"* до *"Снежной Маски"*. Заглавие книги казалося мне — кощунством в те годы. Сам А. А. в нашей схватке казался мне мертвым. И был я неправ в легкомысленно внешней оценке *"Нечаянной Радости"*; смысл ее — в целом; она — антитеза; она объясняется в синтезе третьего тома: в России.

"Снежная маска"[207]

О, как удивителен переход от *"Нечаянной Радости"* к *"Маске"*, где в самой пучине погибели — новая радость.

В *"Нечаянной Радости"* новы и краски природы, — и краски души по сравнению с первым томом; и то же по отношенью к *"Нечаянной Радости"* — в *"Снежной Маске"*. — Опять перемена: в эпитетах, в ритмах, и в звуках, и в красках; там — *"золотистая осень разлук"* есть связующий центр меж томами; здесь — ветер, поднявшийся быстро в *"Нечаянной Радости"*, переметающий в *"Снежную Маску"* и крепнущий вихрем и холодом: дождик, не надо накрапывать! Ей, развевайся туман! Уже сыпался снег по пространству *"Нечаянной Радости"*. Он теперь здесь — метелица; ветер имеет свой звук: это — глас роговой, сотрясающий ночь; нет болота, полоски зари, лиловато-зеленого тона, тумана и серости; слово *"серый"* исчезло в ночи черно-синей; и — синей — стихия, соединившая три этапа, — вода, — как она изменяется!

Мы живем в старинной келье
У разлива вод:
Здесь весной кипит веселье.
И — река поет[208].

В стихотворениях первых вода разливается: вешняя, шумная, чистая; в *"Нечаянной Радости"* она преет в затонах, в запрудах, в болотах иль бесится бурею в море; в *"Снежной Маске"* она — снег, лед и прорубь, струящая пар; она — скована льдом; и — *"злая вода"*; и, опять-таки, — *"злая"*; воды-то и нет: снег и лед; все — меняется; ветер меняется тоже; поднявшийся в серых туманах *"Нечаянной Радости"*, — затрубил рогом он, взвился вихрями в ночь; ветер вспыхивает не сразу в *"Нечаянной Радости"*, приблизительно, — с середины, крепчая к концу: —

— *"Трепли волосы"*, *"ветер... пьяный"*, *"раздуй паруса"*, с ветром борешься, *"ветер ломится"* в окна, уносит дымки из трубы, "с легким треском рассыпался *ветер*", просторами *"гнет"* он *"кусты"*; и порой оснежается: *"Ветер! О, снежные бури!"*

— Таков он в *"Нечаянной Радости"*. В *"Снежной Маске"* —

— еще того чище: —

— *"взвихрил"* он снега, *"звезды гонит"*, и тучи срывает с небес; все срывает; он *"бросил нас в бездну"*, "звезда... понеслась" в *"вихри снежные"* северной ветренной ночью. В *"Нечаянной Радости"* он — охватывает; здесь он схватывает все, что есть (звезды, тучи, снежинки, поэта); и — гонит: в бездны; несется стремительно в ночь все, что есть: небеса, звезды, маски, обличия, милая, — все несется; динамика — невероятна; спирает дыханье: —

— *"Мгла взвилась"*, *"Мы летим"* там, где искры несутся, *"взвилась"*, *"сорвалась"*, *"уносились"*, *"настигла"* и *"опрокинула свод"*; *"и звезда за звездой понеслись"*; и неслися "года", и *"летели* снега... *налетающей* ночи", *"и мы понеслись"*, *"лететь стрелой... в пропасть... звезд"*, *"улетел"*, времена *"быстролетны"*, *"летели"*, "ладьи... *пролетели*", *"летите"*, *"лети"*, *"настигай"*, "догони", полет переходит в безумие повелительных наклонений и в требование бросаться туда и сюда в бездне звездной: —

— *"Глядись, глядись"*, *"обрати"*, *"опусти"*, *"укроти"*, *"закрути"*, *"вейтесь"*, *"плывите..." вздохните*, глаза *"опусти"*, *"дай"*, *"пробудись"*, *"исцелись"*, *"покорись"*, *"оставь"*, *"прости"*, *"восстань"* —

— совершеннейшее безумие повелений безумствовать, переходящее в угрозу:

Рукавом моих метелей
Задушу.
Серебром моих веселий
Оглушу.
На воздушной карусели
Закружу.
Пряжей спутанной кудели
Обовью.
Легкой брагой снежных хмелей
Напою[209].

И остается одно: "лететь стрелой... в пропасть"; и все — пролетает; и — носится в пропасти, перегоняя друг друга; "колеблемый вьюгами Рока, я взвиваюсь, звеня..."

Вот и двинулась обыденность; пошел —

Бирнамский лес
На Донзинан.

Вьюги Рока подкрадывались в *"Нечаянной Радости"*; в дальних полях хохотал *"Невидимка"*; ну вот и подкралися; и Невидимка теперь обнаружит свой лик: снимет маску; но маска та — *"мир"*; мир стал снежною маскою; весь перевеян он бурей снежинок — куда?

И снежных вихрей подъятый молот
Бросил нас в бездны...

То — молоты Рока, которого звуки еще раздавались в *"Нечаянной Радости"* издали голосом *меди* и звоном с болота.

Звезда за звездой
Понеслась,
Открывая
Вихрям звездным
Новые бездны[210].

Вскрывается смысл роковой неизбежности: смысл — не земной, хотя Рок ударяет нас глыбою земляною; смысл — бездна небесная:

Открылась бездна: звезд полна.
Звездам числа нет: бездне — дна[211].

Так из бездны небесной извечно сметаются бури метельные млечных путей, осаждаясь туманом зелено-лилового газа; и покрываяся пеплом того прозаического реализма, в который едва не поверил А. А. :

Все, все по-старому, бывалому
И будет, как всегда...[212]

Или:

Да и меня без всяких поводов
Загнали на чердак.
Никто моих не слушал доводов
И вышел мой табак.
Давно звезда в стакан мой канула, —
Ужели навсегда?[213]

Звезда Духа, когда она канет в стакан, то расплавится тотчас стакан в брызги мысли; за ним — и "чердак, дом, двор, улица, мир": *"Маска снежная"* — взрыв оболочки от бомбы *("Нечаянной Радости");* все полеты — стремительное расширенье трагедии — в Дух!

. . . .

Та динамика дана нам на стремительных, ослепительных ритмах; слова о полетах летают на легких крылатых хореях, которыми Блок не владеет еще в *"Нечаянной Радости"*; здесь — владеет хореем; крылатый хорей (— ◡ — ◡ ◡) у Языкова[214], загалопировав, переходит порой в пеон[215] третий (◡ ◡ — ◡ —); и тоже у Блока:

И неслись опустошающие
Непомерные года,
Словно сердце застывающее
Закатилось навсегда.

Конечно же то — пеон третий:
◡ ◡ — ◡ ◡ ◡ — ◡ ◡ ◡
◡ ◡ — ◡ ◡ ◡ —
◡ ◡ — ◡ ◡ ◡ — ◡ ◡ ◡
◡ ◡ — ◡ ◡ ◡ —

Великолепно везде контрастирует дактилохорей[216] с ямбо-анапестом[217].
А хорей иногда крепнет в кретик (— —)[218]:

И струит мое веселье
Два луча[219].

Доминирует явно хорей: им писано до двадцати стихотворений (и — шесть только ямбов; анапестов, амфибрахиев, дактилей — *нет*).

Интересна на всем протяжении смена размеров; в стихах *"О Прекрасной Даме"* доминируют *ямбы* в двудольниках и *анапесты* (средь трехдольника) (37 стихотворений анапестических и 105 ямбических); среди них доминирует четырехстопный ямб (61 стихотворение) и трехстопный анапест (до 26 ст.); 40 стихотворений написано смешанным ритмом; 17 стихотворений есть дактиль; и только 5 амфибрахиев.

В *"Нечаянной Радости"* изменение в соотношеньи размеров; количество стихотворений со смешанными стопами — все то же; значительно убывают тут ямбы (72 стихотворения); хорей — неизменен; но убавляется дактиль, анапест на счет амфибрахия, редкого в первом томе. В "Снежной Маске" доминирует победоносный крылатый хорей, который становится *"блоковским"*, как анапест и ямб в первом томе. До "Снежной Маски" хорей — не для Блока.

. . . .

Слово новое — *"вьюга"*, *"метель"*; слово *"вьюга"* проходит на очень многих страницах; и слово *"метель"* — так же часто встречается: *"Нет исхода из вьюг"*; и опять: "Нет исхода из вьюги *певучей*"; у ней — *роговой* громкий голос: "звучали *рога*", иль звенели *"рога"*, иль "поют *боевые рога*", "слушай *трубные* звуки", "гуляет... *трубач*" снеговой; слово *"снег"* шестьдесят раз проходит на сорока лишь страницах. Здесь какое-то исступление повторений: взрыв слов!

. . . .

Этот взрыв — разрыв косного мира, беззвездно-безбездного, серого — *в бездну звездную;* слово *"бездна"* — повсюду теперь: —

— *"в бездну"*, *"над бездной"*, "над *бездной*", "над *бездной*", "в *бездне*", "в открытых *безднах*"; словом: "летим в миллионы *бездн*"; тоже со звездами; их — так много.

И все оттого, что она —

Дева пучины
Звездной.

Кто Она? Незнакомка *"Нечаянной Радости"*? Клеопатра? О, нет, — скорей, Та, о Которой сказал Соловьев:

Ты непорочна, как снег за горами.
Ты многодумна, как зимняя ночь.
Вся ты в огнях, как полярное пламя,
Темного Хаоса Светлая дочь[220].

Вот кто встретил А. А. в буревом взрыве рока, когда он был брошен стремительно — в бездну; уже подымается голос царицы водоворота небесных пучин: "*Твой* голос слышен...", "*Ты* ли?", "О, *настигай*, о, *догони*"; вот — Она:

Из очей ее крылатых
Светит мгла.
Трехвенечная тиара
Вкрут чела[221].

Она говорит:

Глядись, глядись,
Пока не забудешь
Того, что любишь[222].

А он любит теперь не Прекрасную Даму — болото, фиалку, *"испытанных остряков"* с островов:

Я сам, позорный и продажный,
С кругами синими у глаз[223].

Хорошо все забыть; но — вот: взгляда не выдержишь: "Нет заката очам твоим звездным", и — "опусти глаза твои".

И когда со мной встречаются
Неизбежные глаза, —
Глуби снежные вскрываются...[224]

Ты опустила очи,
И мы понеслись[225].

Куда же летят? Да из жизни: то — смерть.

Вот меня из жизни вывели
Снежным серебром стези[226].

Вместе с гибелью образы рока, давящие образами *черных монахов, попов, звонарей, невидимок, не давят; "оттуда"* — сюда они давят; *"там"* это лишь — тени, лишь черные маски, пролеты из снега ночной темноты; превращение *"нечисти"* в маски меняет гнетущее чувство в крылатое; все мы лишь маски; мир — *"снежная маска"*; и появляется лейтмотив маски:

Так смеется *маска — маске...*
Маска к маске обратясь.

Тихо шепчет *маска — маске*
Злая *маска — маске* скромной[227].

"И она внимает *маске*", "и какие хочешь *маски*", "в темной *маске* прорезь... глаз", "странны были речи *маски*", "возврати мне, *маска*, душу", "ветер *масок* не догнал". Все — маски, маски. Это — тени *темной* ночи:

И еще *темней* — на *темной*
Завеси окна
Темный рыцарь...[228]

Но ”*темный* рыцарь — только снится”. То — оставленный *двойник*: порог перейден в смерть. Встреча в бездне звездной — с Маской масок: с мировой душою; нет в ней страха, все — крылато: ”птица вьюги *темнокрылой*”, ”осенившая *крылами*”, ”и *крылатыми* очами смотрит высота”. То крылья взлета в Мир иной; и легкость, легкость: ”*легкие* тревоги”, ”крылья *легкие* раскину”, ”крылья *легкие* дала”; то крылья — в смерть и в гибель: ”*горе светлое* мое” и ”сердце *хочет гибели*”, и весело ”*погибнуть*”, и ”веселится *смерть*”. Она — лишь Маска масок:

И под маской — так спокойно
Расцвели глаза[229] —
— Что —
Я спутал все страницы,
Пока глаза твои цвели[230].

Она же — ”сладко в очи посмотрела”; и уж — ”на завеси оконной золотится луч, протянутый от сердца”; и Она говорит: ”от дремоты исцелись”, ”к созидающей работе возвратись”.

И приветно глядят на меня:

— Восстань из мертвых!

Чудесная метаморфоза: ”Как труп в пустыне я лежал”. Она же, Смерть —

Золотистый уголь в сердце
Мне вожгла[231].

Да, это та, про которую Соловьев говорил:

Ты непорочна, как снег за горами,
Ты многодумна, как зимняя ночь;
Вся ты в огнях, как полярное пламя,
Темного Хаоса Светлая дочь.

Так пройдя испытание смертью, поэт восклицает уже за порогами *”Снежной Маски”*.

О, весна, без конца и без краю —
Без конца и без краю мечта:
Узнаю тебя жизнь, принимаю,
И приветствую звоном щита...[232]

. . . .

Перебои в тональности образов, красок и ритмов от первого тома к второму не станут понятны без знанья душевно-духовной действительности и без учения гностиков, где вскрывается энтелехия[233] Духа чрез силы сознанья — в культуру, в природу материи даже, которая — выделка Духа; припомним Владимира Соловьева, указывающего на систему Великого Валентина: ”*Величайшее достоинство Валентиновой системы,* гласит Соловьев, *состоит в... новом метафизическом (хотя облеченном в поэтическую форму) взгляде на*

материю. Древняя мысль знала... два представления о материальном бытии: или... это бытие являлось лишь субъективным признаком, обманом духа; или же... материи приписывалась самостоятельная реальность. В Валентиновой же системе впервые матерьяльное бытие определяется... как действительный результат душевных изменений"[234]. София в учении гностиков — эон[235], которого изменение положений в плероме рождает духовные бури; итог, — появление мира материи, как приращенья духовности; вся мировая история — часть биографии этой Софии, падение, распаденье ее, возвращенье, смещение сфер, разделение, — все отражает поэзия Блока, так точно, как в грань бриллианта внедряется солнце.

Вот образ Софии в ученьи египетских гностиков, валентиан: глубина, первый эон, протягивает свою цепь, как паук выпрядающий нить паутины; София — последний (тридцатый из эонов) страстится зреть глубину, нарушает первичное равновесие эонов, бросившись в бездну, где нет еще мира, но где будет он — отразителем, впечатлителем жизни *плеромы,* как миг озаренья сходящей Софии:

В свете немеркнущем Новой Богини
Небо слилося с пучиною вод.

Что было в извечном, — потом отразится на циклах культуры; сверженью Софии оттуда ответствует здесь: ощущенье Сошествия:

Знайте же, Вечная Женственность ныне...
на землю идет!

Биография Человека построена так, как он сложен идеями; озаренье Софией сознания, иль — инспирация, — память о бывшем, о сущем, о вечно грядущем:

"Предчувствую!.."

Вся *лазурь золотистая* Блока — предчувствие; но: —

Изменишь облик Ты!

Павши в бездну, София не зрит Глубины; потому что Ее — ограняют пределами; и — выделяют Ею страсть ее — в место мира, который появится, как воплощение страстных томлений Софии; это — Дочь Ее, Ахамот, плачет — в томящемся мраке; Софию же вновь водворяют в *плерому;* что было до-мирном, — потом повторяется; мигу рождения Ахамот явно ответствует изменение Лика: является *"Темного Хаоса Дочь".* Вознесенью Софии ответствует: — померкание инспирации.

Вся биография наша построена так, как она промышляема в мире идей; момент ухожденья Софии — повтор для культуры души:

Ты — в поля отошла без возврата!
Да святится Имя Твое.

И — плач Ахамот в темени оплотняется образом косного мира; Она — Душа Мира, а не София Небесная (та есть Царица, а эта — Царевна). Из слез пролитых — вытекают моря; из скорбей ее — земли; и демоны *(попики, звонари, невидимки)* — от страха Ее; образ мира есть образ душевный, который всегда — до материи; эта последняя — интерференция образов; имагинация — ткань инспирации; Ахамот — в метаморфозе; а Мать — в неподвижно над-образном; Ахамот — море движения, водоворотов и вьюг; мне в письме называет Ее Блок Астартой: и он — ошибается; образ Астарты — аспект средь аспектов Ее.

К ней нисходит Христос (не Иисус — по учению гностиков, принципы эти разделены: на Иордани лишь был осенен Иисус Духом Логоса); действие Логоса возжигает в Ней родину: образ плеромы, где — Мать; из улыбки Ее начинает светить свет физический; в ней возникает стремление ввысь, как у Матери некогда было стремление вниз; и стремление — космический Ум, Демиург; Параклет[236] просвещает Ее; сочетанье стремлений двойной Ее сущности (темно-светлой, демиургически-хаотической) есть человек; он есть *"век"*, иль слепое течение времени; он же — Чело; и борьба обостряется в нем; биография, отражая собой Душу Мира (Имагинацию), в ней отражает Премудрость; в самосознании — расплетаем сплетенья космической пряжи и нити ее возвращаем в мир Духа; высвобождаем мы Ахамот: в миг, когда все поймут пневму[237], София Вторая в *плероме* появится. Здесь исхождение мира — роман; и в любви романической проницаем мы тайну творения мира, но не любви в нашем куцом, бескрылом, безогненном смысле; любовь до конца совершенно конкретно-гностична; она — не раскрыта; в Любви друг ко другу доходим до Ахамот; Ахамот — Дочь: дочь Любви. Коль София — Премудрость, Душа Мировая — Любовь; но внести в нее свет может гнозис, мы в нем претворяем и Ахамот. Встреча с Софией поэтому через Любовь; так разумное просвещенье Любви в опознаньи духовных законов пути просвещения; пресуществляя любовь в человеческих отношениях, — распахиваем природу материи; и семеним ее Духом; последние тайны любви — в коллективе, в мистерии; и Соловьев в сочинении *"Смысл любви"* говорит:

"Как в любви индивидуальной два... существа... служат один другому... положительным восполнением, точно так же должно быть во всех сферах жизни собирательной... Необходимо изменить отношение человека к природе... установление истинного любовного, или сизигического отношения человека не только к его социальной, но и к его природной и всемирной среде — эта цель сама по себе ясна". И далее он говорит: "истинные поэты всегда оставались пророками всемирного восстановления жизни"[238]. И приводит отрывок из Фета:

Только у вас мимолетные грезы
Старыми в душу глядятся друзьями,
Только у вас благовонные розы
Вечно восторга блистают слезами[239].

Блок — выразитель любви, о которой еще не умеем мы внятно сказать; и — в любви его, личной, открылась Любовь: и в Офелии он увидал Беатриче, в которой — Царевна, скликающая параклетовых птиц; в Ней же — Та, о Ком нет уже образов: Ту называем Премудростью; Блок повторил в биографии быта душевного всю биографию переживаний гностических: снисхождение, томленье, восход, появление Ахамот, встречу с Ней в безднах; понятно его потемнение *золотисто-лазурного мира* через *серо-зелено-лиловое* — в ночь: то — отход, безвозвратный, Софии; а *попики, марева, зелья "Нечаянной Радости"* — страхи томящейся Ахамот, или Царевны-Царицы, которые переходят в свист вихря, в метелицу звезд; но гностический смысл, в нем отживший, — с ним связана Ахамот: он обусловит возможность вернуться в плерому. И *"Снежная Маска"* — второе свидание: с Ахамот!

Третье свидание — встреча с Россией: об этом свидании — речь впереди.

. . . .

Поразительно: как повторяется в лирике Блока лирическая философия Валентина: до мелких штрихов! В стихотворении, например *"Царица смотрела заставки"*, великолепном по образам, вы ничего не поймете: зачем здесь Царица, какая такая; и почему здесь подчеркнутое противоположенье Царевны Царице, пока не поймете: Царица — Премудрость, Царевна же — Ахамот:

Царица смотрела заставки —
Буквы из красной позолоты.

Так ей — полагается:

Протекали над Книгой Голубиной
Синие ночи Царицы.
. . . .
Отворилось облако высоко
И упала Голубиная Книга.

Все — так: и цвета (золотой, синий) — традиционные цвета Мудрости:

У Царицы *синие* загадки
Золотые... заставки.

Иная — Царевна:

Царевне так *томно*...

Томленье сопутствует Ахамот; но к ней слетит параклетова белая птица: слетает:

А к Царевне с вышки голубиной
Прилетели белые птицы.
. . . .
И плескались белые перья...

. . . .
...Из лазурного ока
Прилетела воркующая птица.

Но *"око"*, которому вся протянулась Царевна — из нашего *"окна"* понявшего *синее око* стезею гностической; да, загадан *"духовный роман"* меж Царевной и гностиком: и Царевна — Невеста; она —

Твои числа замолит, царица.

Опять — почему? Лишь тогда, когда Ахамот в нашем сознании перенесется в *плерому*, окончится мир, мировая история, или последствия неравновесия некогда падшей царицы.

Смотрите во что превращаются образы Блока, когда подойдете вы к ним с ключом гнозиса. В каждом отрывке о Ней можно увидеть, о ком идет речь: так:

"Я ждал Тебя. Я дух к Тебе простер. В Тебе — спасенье!"

Кто? София. А это?

Ты в белой вьюге, в снежном стоне
Опять... всплыла.

Ахамот!

. . . .

От первого тома к второму описана драма схожденья Софии, Ее изменение в Ахамот, переплотнение в косность скорби; да, да: разложение образов Духа в гнетущую карму[240] тяжелого материального мира — суровый закон; бессознательно Блок дает формулу подтверждения истины жизни.

Предстояние первое перед порогом[241]

Вооруженье сознания предохранило бы рыцаря от подмены; а то разложенье — закон. Рыцарь, ранее сроку поднявший свой меч, — Арлекин.

Он мечом деревянным
Начертал письмена.
Восхищенная странным
Потуплялась *она*.

Восхищенью не веря,
С темнотою — один —
У задумчивой двери
Хохотал Арлекин[242].

Дверь — пороги духовного мира, к которым нет доступа; здесь, у порогов — разбитие образов; образы света становятся ночью; и далее — нет их.

Несуществующих шагов
Тревожный шорох на дороге.
Холодная черта зари,
Как память близкого недуга,
И верный знак, что мы внутри
Неразмыкаемого круга[243].

Это — образы первого тома: второй лишь выводит последствия; имагинацию воды, у тайны порога нам должно разбить; если нет, — то они загнивают, как воды болота; буйственности имагинации — буйственность крови, забившей в струе инспираций, озонного, горного воздуха; надо уметь отделиться от крови, всегда заслоняющей *пневму* моделями физиологических кореллатов; и образ духовный дробится в безобразность отвлеченных понятий (в *"неразмыкаемый круг"*) и в *"болото"*:

Мое болото их затянет:
Сомкнется мутное кольцо.

Посмотрите ж: Царевна покатится вниз; вот — наклонная плоскость ее превращений: она обернулась волшебницей; *белые птицы* — лишь вьюга:

Ты в *белой* вьюге, в снежном стоне.

И "*Белая,* Ты в глубинах не смутима" — где, где? Вот навстречу выходит лишь девушка, сопровождаемая *белой* ладьей (белый цвет — Параклетов):

За тобой — живая ладья,
Словно *белая лебедь плыла.*

Белое сходит на землю *ладьею и платьем* (в горах оно — трепеты *света*). Там —

Вдохновительно молчанье
И скрыты помыслы твои,
И смутно чуется познанье
И дрожь *голубки и змеи*[244].

Как у Владимира Соловьева:

Нашу голубку свяжите
Ярыми кольцами древнего Змия[245].

Связыванье *"Царевны"* явленьем — закон, точно ведомый гнозисом: здесь приставляется Фафнер к Брунгильде; здесь *ярые кольца* — *"огни"* (заклинание огней). "Она" — "я любил твое *белое* платье, утонченность мечты разлюбив"; где же птица из Синего Ока?

Очертание *белого* стана.

И платье здесь — *"белый намек"* на плескание белоперого света; остался лишь "*белый* цветок". "Безысходно туманная ты предо мной затеваешь игру";

. . . .
...Из лазурного ока
Прилетела воркующая птица.

Но *"око"*, которому вся протянулась Царевна — из нашего *"окна"* понявшего *синее око* стезею гностической; да, загадан *"духовный роман"* меж Царевной и гностиком: и Царевна — Невеста; она —

Твои числа замолит, царица.

Опять — почему? Лишь тогда, когда Ахамот в нашем сознании перенесется в *плерому*, окончится мир, мировая история, или последствия неравновесия некогда падшей царицы.

Смотрите во что превращаются образы Блока, когда подойдете вы к ним с ключом гнозиса. В каждом отрывке о Ней можно увидеть, о ком идет речь: так:

"Я ждал Тебя. Я дух к Тебе простер. В Тебе — спасенье!"

Кто? София. А это?

Ты в белой вьюге, в снежном стоне
Опять... всплыла.

Ахамот!

. . . .

От первого тома к второму описана драма схожденья Софии, Ее изменение в Ахамот, переплотнение в косность скорби; да, да: разложение образов Духа в гнетущую карму[240] тяжелого материального мира — суровый закон; бессознательно Блок дает формулу подтверждения истины жизни.

Предстояние первое перед порогом[241]

Вооруженье сознания предохранило бы рыцаря от подмены; а то разложенье — закон. Рыцарь, ранее сроку поднявший свой меч, — Арлекин.

Он мечом деревянным
Начертал письмена.
Восхищенная странным
Потуплялась *она*.

Восхищенью не веря,
С темнотою — один —
У задумчивой двери
Хохотал Арлекин[242].

Дверь — пороги духовного мира, к которым нет доступа; здесь, у порогов — разбитие образов; образы света становятся ночью; и далее — нет их.

Несуществующих шагов
Тревожный шорох на дороге.
Холодная черта зари,
Как память близкого недуга,
И верный знак, что мы внутри
Неразмыкаемого круга[243].

Это — образы первого тома: второй лишь выводит последствия; имагинацию воды, у тайны порога нам должно разбить; если нет, — то они загнивают, как воды болота; буйственности имагинации — буйственность крови, забившей в струе инспираций, озонного, горного воздуха; надо уметь отделиться от крови, всегда заслоняющей *пневму* моделями физиологических корелллатов; и образ духовный дробится в безобразность отвлеченных понятий (в *"неразмыкаемый круг"*) и в *"болото":*

Мое болото их затянет:
Сомкнется мутное кольцо.

Посмотрите ж: Царевна покатится вниз; вот — наклонная плоскость ее превращений: она обернулась волшебницей; *белые птицы* — лишь вьюга:

Ты в *белой* вьюге, в снежном стоне.

И "*Белая*, Ты в глубинах не смутима" — где, где? Вот навстречу выходит лишь девушка, сопровождаемая *белой* ладьей (белый цвет — Параклетов):

За тобой — живая ладья,
Словно *белая лебедь плыла.*

Белое сходит на землю *ладьею и платьем* (в горах оно — трепеты *света*). Там —

Вдохновительно молчанье
И скрыты помыслы твои,
И смутно чуется познанье
И дрожь *голубки и змеи*[244].

Как у Владимира Соловьева:

Нашу голубку свяжите
Ярыми кольцами древнего Змия[245].

Связыванье *"Царевны"* явленьем — закон, точно ведомый гнозисом: здесь приставляется Фафнер к Брунгильде; здесь *ярые кольца* — *"огни"* (заклинание огней). "Она" — "я любил твое *белое* платье, утонченность мечты разлюбив"; где же птица из Синего Ока?

Очертание *белого* стана.

И платье здесь — *"белый намек"* на плескание белоперого света; остался лишь "*белый* цветок". "Безысходно туманная ты предо мной затеваешь игру";

она — связана кольцами Логе-Люге: "*Голубке* привольно в пламенных кольцах" (Вл. Соловьев): спит во лжи:

Как ты лжива и как ты бела,
Мне же по сердцу белая ложь[246].

Не по сердцу ложь Зигфриду, вырвавшему Брунгильду из царства огней; он есть "Я", самосознание, вооруженное мечом или гнозисом; вооружения нет у А. А.; и великое совершить — нет, нет: "Будет день — и свершится великое, чую в *будущем* подвиг души".

В настоящем, поэтому — разложение образа Ахамот, или Царевны-Голубки, в просто безликую и в просто девушку безысходно туманную, *белую*, сонную, лживую; развоплощение в безобразность Ночи, и оплотненье в "*как все*".

Ты покоишься в *белом* гробу.
. . . .
Я отпраздновал светлую смерть,
Прикоснувшись к руке восковой.
Остальное — бездонная твердь
Схоронила во мгле...[247]

Разделение в образе Юной Голубки — отчетливо: лейтмотив темы Ахамот, гармонически расслоен.

Во втором томе эта Белая Голубка уже является *королевной забытой страны:*

Королевна забытой страны,
Что зовется Ночною Фиалкой.

Но то — "*аллегория*", которой украшена "*некрасивая девушка*":

Некрасивая девушка
С неприметным лицом.
. . . .
И еще, я наверное знаю,
Что когда-то уж видел ее,
И была она, может быть, краше,
И, быть может, грустили когда-то,
Припадая к подножьям ее,
Короли...*

Посерела Голубка, имагинация, не отвергнутая у *порога* законом пути; "*умирает совсем некрасивая девушка*":

Она веселой невестой была,
Но смерть пришла. Она умерла.

---

* Ночная Фиалка.

Ярость древнего Змея над Нею исполнилась: *"пьяный красный карлик"*, не дававший проходу ей (*"девушке страшно"*), совершает *"ужасное дело"*: *"Безобразный карлик занят делом"*. Совершив *это дело*, ее покидает: *"Плывут собачьи уши, борода и красный фрак..."*

"Девушка... очнулась от сна..." "Стыдно возвратиться с дьявольским клеймом". Паденье Голубки — в замене в ней белоперого трепета *белою* ложью красивого *белого* платья:

Моя невеста картонной была.

(*"Балаганчик"*)

Белое через все просеренья становится *черным*. И это — предвидено: стихотворенье, выражающее надежду словами *"на утро ввысь пущу мои крики, как белых птиц"* обрывается:

До утра — без солнца — пущу мои крики,
Как *черных* птиц, —
— потому что:
Во сне и в яви — неразличимы
Заря и зарево[248].

Пути гнозиса вовсе не в том, что — *являются* образы: в том, что они — *различаются*: зори духовного света всегда отделимы от зарева физиологической жизни, где вытравлено содержание образов, где — оболочки:

Там ветер треплет пустой рукав.

За подменой стоит Подменитель:

Берегись, берегись, — над бургосским путем
Сидит один черный монах.

Он у Блока засел над *"бургосским путем"* в первом томе уже:

Мой страшный, мой Близкий — *черный монах...*[249]

Кто же Он? *Страж Порога.*

. . . .

Приближение к Ликам вне твердой духовной работы — сжигает подменою пыла томлением адским, которое есть одежда убитого Несса: и — жжет, прилипая; и слишком близко увидевший дух, но не вставший на путь, переживает лишь муки. Уже не поэт (вместе с тем — не провидец) он — слепнет; преданье седой старины нам выводит *"слепого"* певца: рокового слепца, кого водят, кто — нищий; лишь в песне порой разверзаются очи его; таков теперь Блок.

Чтобы стать певцом Духа горного, сперва надо в жизни ослепнуть (ослеп же Мильтон[250]); отступить от порога, по-новому выступить в жизнь; но выступление — из внутренних нужд: шаг *"во внутрь"*; голос мудрости

соединяет нам внешние *выступы* с тайным *отступом*; отступники следуют в выступах неотступно пути; соединение *внешнего с внутренним* — ступает *Судьбою:* обставшие образы — внешние знаки Судьбы (появление "ведьм").

Рыцарь Дамы с распадом Дамы — распадается: два двойника начинают свой спор: то — остряк, утверждающий: "In vino veritas"; то — мистик, которого голова провалилась в сюртук; и духовное знание изображает тут первые *ритмы Порога:* явленьем Видения и Смерти.

Виденье и Смерть!

Первый том весь — Видение. Смерть — том второй.

Они связаны. Смерть и Виденье даны в одном звуке:

Предчувствую Тебя... Года проходят мимо
. . . .
Но страшно мне: изменишь облик Ты.

Написавший стал *"мистиком"* после; каламбурный остряк написал *"Балаганчик"*; но — столкнуты в Третьем; он — ищущий, все еще, — вопреки *"остряку"*, вопреки провалившейся голове, или Храму Премудрости (*"Церковь упала в зацветший пруд"*, или — *"небо упало в болото"*).

Отступая от тайны Порога по-новому вновь выступают в обставшую жизнь: Александр Добролюбов, Толстой[251], Августин[252] и Франциск[253] (выступал тоже Фауст) переработать свой *порог*. Отступает и Блок; тут порог ему видимый, отображается внешне: *порогом реакции* (и Франциск и Толстой перед проблемой социальной стояли: она — коллективная *карма*); он видит — глубокие корни проблемы; и — упирается: в задания революций; Фауст пытался через смерть подойти к Неописуемому Виденью, он пережил in concreto в себе социального человека; Неописуемое Виденье, видимое одному, станет явью для всех лишь тогда, когда снимутся три порога реакции: политической, социальной, духовной; весь мир матерьяльный — реакция Духа; он — остановка развития у Духов. Индивидуально: *реакции* отражаются: 1. в косностях быта, 2. в его подоплеке (среде социальной), 3. в реакции "Я", остановленного Люцифером[254], завороженным красивостью прошлого: — кончить с коснеющим "Я" — первый шаг к Революции Духа; террористический акт над собою самим есть начало пути.

И вне этого — Она в маске; и маска та — малое, косное "Я" (иль — *"буржуй"* в нас). И Дама — не "рыцаря": Храма, Иоаннова Здания. В месте Виденья Блок себе снится в грядущем своем; и — в Иоанновом Здании ("я их хранил в пределе Иоанна")...

Я — меч, заостренный с обеих сторон.
Я правлю, Архангел, Ее Судьбой[255].

Штейнер указывает: Ангелы суть хранители индивидуальных Судеб; судьбы народа же охраняют Архангелы; Судьбы Человечества — в лоне Начал; так что: сын Человеческий связан с Началом; и — Сын Народа, Народник, — с Архангелом, Духом Народа.

Душа мировая является Блоку в двух ликах пока: его личною Музою (ангелически), и — Душой Человечества. Архангелически — нет, не появлялась Она, и не мог он связать свою *Музу* с Ней — подлинно: связь — через Народ. И свидание третье — должно быть, как встреча с Народной Душою.

Я правлю, Архангел, Ее Судьбой

— значит: судьбы народа зависят от действий Народников — тех, кто мощью расширил сознанье свое до конкретного отражения индивидуумов *Народа:* раскрытые книги они; их читает — Архангел; тут следует отделиться от личности: похоронить себя в смерть; и — воскреснуть; в законы пути.

Мировое Виденье — София. Индивидуальное — Ахамот. Отношение к ней в коллективе народа — явленье России.

О, Русь моя, Жена моя — до боли,
Нам ясен долгий путь[256].

Александр Александрович — оставался максималистом; он — разбил до конца образ Музы; и — образ Небесного Купола, или — бумагу, которую Арлекин протыкает: Виденье ушло; Муза-девушка — серо угасла:

Конец предназначенный близок:
И *война,* и *пожар* впереди[257].

Тут *начало* его политически-социальных стремлений — в огромнейшем смысле: в духовном.

И — тяга к *"народу":*

Люблю Тебя, Ангел Хранитель, во мгле,
Во мгле, что со мною всегда на земле.
. . . .
За то, что нам долгая жизнь суждена,
О, даже за то, что мы — муж и жена!
. . . .
За то, что не любишь того, что люблю.
За то, что о *нищих и бедных скорблю.*
. . . .
Отомстить малодушным, кто жил без огня.
Кто так унижал мой народ и меня!
Кто запер свободных и сильных в тюрьму.
. . . .
Кто хочет за деньги лишить меня дня.
За то, что я слаб и смириться готов,
Что предки мои — поколенье рабов[258].

То — его выступление (*от порога:* в революцию).

Мое расхождение с Любовь Дмитриевной постепенно оформилось явным молчанием; мы не видались с 1908 года до 1916 года. А к А. А. отношение — замирало, не вспыхивая ни дружбою, ни враждою; но то, что естественно доходило о Блоках в Москву, было связано с слухами: об образе жизни А. А. Слухи я отстранял даже: я закрывал свои уши. Об этом периоде Марья Андреевна Бекетова пишет: *"Жизнь Блоков была у всех на виду. Они жили открыто и не только не скрывали, но даже афишировали то, что принято замалчивать. Чудовищные сплетни были в то время о нравах литературного и художественного мира Петербурга. Невероятные легенды о жизни Блоков далеко превосходят действительность. Но они оба, во всю свою жизнь умели игнорировать всяческие толки"*[66].

Помню: последнее письмо от А. А. — получил в марте я; письмо было проникнуто грустью; А. А. проживал совершенно один, потому что жена его уехала с Мейерхольдом в провинцию — в труппе; А. А. писал мне: он — один; и работает над *"Песнью Судьбы"*[67]. Мне думалось: тема *Судьбы* была тем, с чем несчастно столкнулся он.

Каждый период имеет окраску; так: если окраска 1901—1902 годов — ожидание какого-то нового времени, то тема 1908 — разочарованье; в *"Симфонии"* фраза есть: *"Ждали Утешителя, а надвигался Мститель"*. Ощущение 1908 года: да. Мститель — приблизился; А. А. ощущал его грозной судьбой; я — *Врагом*: надо было беречься; в духе 1901—1902 годов загадалось сближение с Блоком; в 1908 год вписалось: разделение наше.

Это — мы поняли; и — замолчали: в молчании поднималася грусть; я искал все забвенья от грусти: в деятельности наших кружков, в философской моей устремленности, в спорах: с Шпетом, с Морозовой, с Метнером.

Трагедия трезвости!..

В то время (в 1908 году) в сознании А. А. очень прочно откладывались контуры его *"Страшного Мира"**; *страшный мир* — лейтмотив, проходящий сквозь весь третий том; есть иные там лейтмотивы (например, лейтмотив России и русской женщины); но лейтмотивы такие были поздней им осознаны; еще нота *"Куликова Поля"*[68] не прозвучала, да: не было *трагедии трезвости* и ответственности; но реализм *песни судьбы* — прозвучал для А. А. Именно в это время слагалися темы той *роковой безнадежности*, которые с потрясающей силой встречают нас в третьем томе стихов; выясним лейтмотивы его; и посмотрим: каким виделся мир А. А.; в 1908 году складывались краски зренья на мир и на жизнь у А. А; он вступал в свою трудную полосу жизни; угаром и страстью охвачены строчки стихов; его страсть, роковая и знойная, зазвучала из ветра и вьюги.

И вьюга, и ветер переметнулися из *"Снежной Маски"*; но *ветер* в поэзии А. А. поднялся до этого; *снежная буря* он; в третьем томе он длится: "Веет

* Первый отдел третьего тома стихов.

ветер"; "входит ветер", "шалый *ветер*, носясь над далью хотел... выжечь душу мне, в лицо швыряя вуалью и запевая о старине"; "и *ветер*... поет в окно"; "воет *ветер*"; "*ветер* над тобой... простонал"; "*ветер* за окном: то трубы смерти близкой"; "и некий *ветер* сквозь бархат черной жизни о будущем поет"; "в свист *ветра*"; "*ветер* рек"; "и *ветер* рванулся"; "степь *да ветер, да ветер*"; "под *ветром* взлетел опадающий лист"; "дикий *ветер* стекла гнет"; "только *ветер*, гость нахальный, потрясает ворота"; "только *дикий черный ветер*, потрясающий мой дом"; "*ветер* ворвался"; он "поет, поет... поет и ходит возле дома"; "все равно... ведь никто не поймет... что *ветер* поет, нам звеня".

Ветер — *шалый;* он — *дикий, нахальный* и *черный;* он рвет, сотрясает ворота, врывается в дом; ветер — *страшный;* он — ветер *судьбы.*

Тема *страсти* охватывает А. А.; за метелью — страна ее возникает в сознаньи поэта: "*Но за вьюгой солнцем юга опаленная страна*". Предмет страсти — не Беатриче: "О, *где ты, Беатриче?*" К той, которая теперь с ним, обращается он: "*Жизнь разбей, как мой бокал*", в страсти или,, вернее, в *страстях,* субъект поэзии Блока утратил свой правый путь: "*Иду один, утратив правый путь*", потому что, "*нет, я не первую ласкаю*".

Не первая: одна, — из многих? Как же любит субъект поэзии Блока "*одну из многих*"? Иль вернее, — как *ласкает* он ее?

Вот как: "*Чтоб на ложе долгой ночи не хватило страстных сил*", "*я испустил впервые страстный крик*". До этого периода — не было испускания *страстного крика;* была любовь — мистическая, туманная, может быть: — целомудренная, болезненная; не жгла крови она; теперь — *страстные крики с одною из многих;* может быть, — *с каждой из многих? "О разве, разве клясться надо в старинной верности навек?"* Лучше "*вспомнить узкие ботинки, влюбляясь в хладные меха?*" И любовь *одной из многих* к поэту — такая же: "И любви цыганской короче были *страшные ласки твои*". Он сам удивлен этими *страшными ласками,* к которым "*принес... усталые губы и... плети изломанных рук*", — удивленно: "*разве это мы звали любовью?*"; да, — тема любви (мистической, просто любви) заслоняется именно в это время тем, чему поэт удивляется: разве это мы (мистические юноши) звали любовью?

Что же? Или, верней, — как же? А вот как: "к плечам ее атласным тоскующий склоняется *вампир*"; он хочет, "склонясь над ней влюбленно и печально, *вонзить свой перстень в белое плечо*"; и от нее требует он: "*так вонзай же, мой ангел вчерашний, в сердце — острый французский каблук*". Женщина для него — *вчерашний ангел,* то есть сегодняшний *черт,* с которой "*тесно дышать от объятий*"; счастье, которое можно получить от нее, — "*мрачные, порочные услады*"; жизнь с ней течет — "*восторгом, бурей, ядом*"; страсть ее — "*дикая*"; он просит ее: "*пронзи меня мечами*"; он восклицает: "О, зрелой страсти ярость"; она пронизывает его "*страстной болью*"; "и *обугленный рот в крови еще просит пыток любви*"; ему становится жутко в "*эту страшную пропасть глядеть*"; "*нет, не смирит эту черную*

кровь даже — свидание, даже любовь"; "их было много. Но одной чертой соединил их я, одной безумной красотою, чье имя: страсть и жизнь моя"; года его есть *буря страстных лет;* иногда вспоминаются лишь из этой бури страстей *со многими: "О, миг непродажных лобзаний! О, ласки некупленных дев"* и т.д.

И вместе со страстью звучит тема *крови*, новая для А. А. Много *крови;* "и был в *крови* вот этот аметист"; "и пил я *кровь* из плеч благоуханных"; "чтоб *кровь* не шла из черных жил"; "хлынь *кровь* и обагри снега"; "губы с запекшейся *кровью*"; "знаю, выпью я *кровь* твою"; "это *кровь* прошумела в ушах"; "и обугленный рот в *крови*"; "*кровь* розовеет... на свет"; "и сердце захлестнула "*кровь*"; "закат в *крови*"; "сквозь *кровь* и пыль"; "с *кровавых* полей"; "*кровавый* отсвет в лицах есть"; "старое сердце в *крови*" и т.д.

Страсть и кровь господствуют в мире: впечатление жути рождается от созерцания этого мира; он — *"страшный мир"*; все в нем

— и дико:

— все в нем — гибель:

— "гибель... предстоит"; "и *в ужасе, зажмуря очи, я отступаю в ту область ночи, откуда возвращенья нет"; "как страшно все! Как дико"; "страшен невидимый взгляд"; "утром страшно* мне раскрыть лист газетный"; "*страх* могилы"; "*тревогу* свою не смирю: *она все сильнее"*; "отгони *непонятный страх"*; "твой... *ужас бесполезный"; "тем жизнь страшней"; "из-под ресниц сверкнувший ужас, старинный ужас дай понять"; "сонмы лютые чудовищ налетали на меня"; "страх познавший Дон-Жуан"; "не спал мой грозный Мститель"; "непроглядный ужас жизни"; "как жизнь страшна"; "страшный мир!"; "о, страшный час"; "до ужаса знакома"; "забудь о страшном мире"; "страшной памятью сердце полно"; "жутко"*... стало; *"мы дети страшных лет России"*.

Страх охватывает от приближения *"Мстителя"*; сердце поэта ждет гибели: "*чеченская* пуля верна"; *"чуешь ты, но не можешь понять, чьи глаза за тобою следят"; "есть дурной и хороший есть глаз, только лучше б никто не следил"; "я привык, чтоб над этой постелью наклонялся лишь пристальный враг"; "роковая гибели весть"; "погибельные муки"; "Так! Погибайте!"; "ты нам грозишь последним часом"; "задремлешь, и тебя в дремоте он острым полоснет клинком, иль на безлюдном повороте к версте прикрутит* кушаком" и т.д.

Этот страх скоро сознается А. А. не только как личный страх, но и как страх ожидания мировой катастрофы; 7-го июня 1908 года написано первое стихотворение цикла *"Куликово Поле"*, где есть разгадка страха, где враг, *"татарин"*, объективно грозит всей России уже.

В степном дыму блеснет святое знамя
И ханской сабли сталь...[69]

И еще позднее, в поэме *"Возмездие"*, опять-таки указаны источники страха:

Сознанье страшное обмана
Всех прежних малых дум и вер,
И первый взлет аэроплана
В пустыню неизвестных сфер...
И отвращение от жизни,
И к ней безумная любовь,
И страсть, и ненависть к отчизне...
И черная, земная кровь
Сулит нам, раздувая вены,
Все разрушая рубежи,
Неслыханные перемены,
Невиданные мятежи.

В этих строках классически отобразился лейтмотив ожидания *"мятежей"* и *"перемен"*, который в 1908 году врывался в индивидуальные сознания наши, отрывая нас друг от друга, бросая в себя и в себе заставляя подслушивать что-то страшное, подкрадывающееся, как Враг, как Мститель за непрочитанные, невоплощенные зори недавнего и кажущегося в то время таким далеким периодом жизни.

Зори обертывались в Блоке *кровью; зори* для него оказались взвеянною под небо землею.

Мы с А. А. по-разному пережили подмену *зори* — *кровью*; и это переживание подмены отделило нас друг от друга; каждый думал, что подменен — другой; а *подменивалась самая музыка времени.* И оба мы переживали в то время:

И отвращение от жизни,
И к ней безумную любовь[70].

Оба мы приблизительно одинаково относились к России:

И страсть, и ненависть к отчизне...

Я скоро (летом 1908 года) написал строки:

Исчезни в пространстве, исчезни, —
Россия, Россия моя[71].

Суть перемены времени мы постигли позднее; и оба поняли одинаково; в этом наша новая и окончательная встреча с А. А. в 1910 году.

Пока же мы оба, по-разному переживали перерождение жизни в нас: А. А. искал порою забвенья в *вине и в страсти;* я — в замораживании себя сухими, философскими схемами; но разочаровались мы в сходном, даже... в *одних и тех же людях,* — причем А. А. винил меня в том, может быть, что *эти люди* изменились; а я — его, но мы поняли, что на эти темы нам лучше не говорить; с другом — не могли говорить; без уговору мы замолчали.

Перерождение жизни — свершилось: о жизнь мы разбились по-разному.

Вот представление о жизни А. А., составленное из цитат третьего тома; я привожу эти цитаты именно потому, что *новое, безнадежное* пред-

ставление о жизни складывалось у А. А. по крайнему моему представлению именно в эту эпоху: —

— "Жизнь пустынна, бездомна, бездонна"; "жизнь пуста, безумна, и бездонна"; "как тяжело ходить среди людей и притворяться непогибшим"; "я коротаю жизнь мою, мою безумную, глухую"; "живи еще хоть четверть века — все будет так. Исхода нет"; "Умрешь — начнешь опять сначала, и повторится все как встарь: ночь, ледяная рябь канала, аптека, улица, фонарь"; "Когда ж конец? Назойливому звуку не станет сил без отдыха внимать"; "все равно не хватит силы дотащиться до конца"; "бессмысленность всех дел, безрадостность уюта"; "Что? Совесть? Правда? Жизнь? Какая это малость! Ну разве не смешно?"; "Пробудился: тридцать лет, хвать-похвать, — а сердца нет. Сердце крашеный мертвец. И, когда настал конец, он нашел весьма банальной смерть души своей печальной"...; "Когда невзначай в воскресенье он душу свою потерял"; "Где деньги твои? Снес в кабак. Где — сердце? — Закинуто в омут"; "день проходил как всегда: в сумасшествии тихом"; "с него довольно славить Бога — уж он — не голос, только — стон. Я отворю. Пускай немного еще помучается он"; "как часто плачем — вы и я — над жалкой жизнию своей"; "но торжества не выносила пустынной жизни суета, беззубым смехом исказила все, чем жива была мечта"; "смерть невозможна без томленья, а жизнь не зная истребленья, так — только замедляет шаг"; "тихонько течет жизнь моя"; "одно, одно — уснуть, уснуть"; "душит жизнь сон тяжелый"; "жизни этой румяна жирные"; "разыгрывайся жизнь, как фант"; "слабеет жизни гул"; "над бездонным провалом в вечность, задыхаясь летит рысак"; "спляши, цыганка, жизнь мою"; "О, как я был богат когда-то, а жизнь не стоит пятака"; "Но жизнь — проезжая дорога"; "Неужели и жизнь отшумела, отшумела, как платье твое".

Может быть, — оттого-то отшумела, что отшумело... какое-то... платье?

Довольно: страшное представление о жизни; оно откладывалось в А. А. с окончательной трезвостью — в 1908 году, когда была зимой 1908 года написана "Песня Судьбы", когда "Мейерхольд собрал самостоятельную труппу из молодых артистов, в число которых вошла и Люб. Дм.", когда — "труппа эта вскоре уехала из Петербурга, направив путь по западным и южным городам России"[74]; до августа А. А. не приезжал в Шахматово; жил один в Петербурге.

Эти месяцы одиночества, по-моему, и были поворотом линии всех стремлений его к *"трагедии трезвости"*, к звучаниям лейтмотива третьего тома.

Мгла, сумрак и черный цвет (черный бархат) отныне повсюду окрашивают его строки: —

— Черное: —

— "В черном небе", "на черном небе", "в черных сучьях", "из черных жил", "чернее злоба", "черная вода", "чернота навесов", "на дне... души... черной", "черную кровь", "чернее... свет", "черным городом", "бороздою... черной", "над черной Вислой — черный бред", "черный... бриллиант", "черный взор", "черный стеклярус", "на черном блюде", "сквозь бархат черный", "черный глаз", "в черное небо Италии черной душою гляжусь", "в

небе черном", "черным взглядом", "чернеют... дали"; в первом бы томе сказал он: "синеют, голубеют дали"; теперь дали — черные; "черный бархат"; опять: "черный бархат"; *черного бархата* — много; "*черная ревность*", "*сине-черною* косою", "*черным* крыльям", "косьми иссиня *черными*", "по *черным* пятнам *черной* судьбы", "под *черною* скалою", "в *черной* ночи", "*чернеют*... трубы", "*черной* тучей", "глухота и *чернота*", "за окном *черно*", "*черный* ветер", "в небесной *черни*" и т.д.

Все — *черно;* чернота третьего тома сменяет собою серо-зеленые оттенки второго тома. И так же часто слова: *темный, темнота, мрак, мрачный, сумрак, мгла* и т.д.: —

— "Ухожу... во *мрак*", "огни и *мрак*", "мой... *мрак*", "*смертный сумрак*", "средь... *мраков* потонуть", "*сумерки*... легли", "обрывки *мрака*", "из паутины *мрака*", "город... во *мгле*", "вечер *мглист*", "в... *мраке спальной*", "в *сумраке*", "*сумерки* легли", "*сумерки* времен", "*темно*", "*мрачные* услады", "*мраком* глаз", "*темно*", "морозный *мрак*", "за *мраком*", "*мрак*... дней", "каплет *мгла*", "ночная *мгла*", "в снежной *мгле*", "был *мрак*", "роится *сумрак*", "и *мрак*", "окрестный *мрак*", "в мутный *мрак*", "в *сумрачной* стране", "в грядущем *мраке*", "декабрьский *мрак*", "ведь *мгла* — все *мгла*", "неотвратимый *мрак*", "в синем *сумраке*", "*сумрак*", "*мглою*", "*мглы*... я не боюсь", "за... *мглой*", "расточилась *мгла*", "черная *мгла*", "в октябрьскую *мглу*", "в *темный* тупик", "в угол *темный*", "из *темноты*", "*темно*", "сокройся в *темные* гроба", "на *темной* шали", "*темноликий* Ангел", "*темный* морок", "*темней и темнее*", "*темная* подруга", "в *темную* пропасть", "перед Доном *темным*", "конус *темной* ноги", "среди растущей *темноты*", "*темным* огнем", "*темные* ночи", "в *темных* Карпатах", "*темный* времени полет", "*темной* думы" и т.д.

Ночь — доминирует: —

— "Коварнее... *ночи*", "распутница *ночная*", "*ночи*", "на ложе... *ночи*", "из *ночи* туманной", "тропой... *ночи*", "из бездн *ночных*", "отступлю в ту область *ночи*", "*ночью*", "*ночь*", "шествие *ночи*", "*полночь*", "*ночь*", "*ночь*", "в опустошенный мозг ворвется только *ночь*", "в сырую *ночь*", "*ночь* как *ночь*", "и *ночь*", "немотствует... *ночь*", "по бархату *ночей*", "*ночь*", "хриплый бой *ночных* часов", "*ночь* мутна", "волна возвратного прилива бросает в бархатную *ночь*" (всюду бархат у Блока: ночной, черный), "в эту *ночь*", "место вечной *ночи*", "во власти *ночи*", "всю *ночь*", "и *ночь*", "в *ночь* — тропой глухой бреду", "в *ночь*", "страшнее *ночи*", "в сумасшедшей *ночи*", "и *ночь* опять пришла", "в партере — *ночь*", "пусть *ночь*", "сквозь... *ночи*", "долгих лет нескончаемой *ночи*", "последней ночи", и т.д.

Ночь, ночь и ночь!..

Эта ночь есть сама пустота; из ничто возникают явления мира; отходят — в ничто: —

— "Я ухожу, душою праздной, в метель, во мрак и в *пустоту*", "в *пустые* очи", "и голос говорит из *пустоты*", "жизнь *пустынна*", "*пусто*, тихо и темно", "с далеких *пустырей*", "*пустая* вселенная глядит на нас", "глядят глаза *пустые*... ночь", "*пустыней* неба", "тоска *небытия*", "*пустынной* жизни суета",

"равнина *пустая*, как мечта"; "жизнью *пуста*", "и *пустыней* бесполезной"; "мир бесстрастен, чист и *пуст*", "сияние *небытия*"; "в сердцах восторженных когда-то есть роковая *пустота*", "за окном черно и *пусто*", "ищи опоры... в воздухе *пустом*" и т.д.

Ночь: ночь — пустая. Небытие — смерть: и нота *смерти* встает; Боже мой, смертью пронизано все; смерть стоит надо всем:

Разрешенье всех хулений,
Всех хулений и похвал,
Всех змеящихся улыбок,
Всех просительных движений —
Жизнь разбей как мой бокал!
Чтоб на ложе долгой ночи
Не хватило страстных сил!
Чтоб в пустынном вопле скрипок
Перепуганные очи
Смертный сумрак погасил[73].

"Здесь *умерли*", но зачем перечислять лейтмотив смерти третьего тома; читатель поверит мне: почти на каждой странице упоминание об умирании, смерти и гибели. Самое страшное, что это не просто смерть, а смерть прижизненная; так сказать, *смерть вторая; мертвец* не укладывается в могилу, а бродит среди живых: *"отверженец, утративший права"; "увядший цвет в петлице фрака бледнее уст на лике мертвеца"; "как тяжело бродить среди людей и притворяться непогибшим"; "как страшно мертвецу среди людей живым и страшным притворяться"; "спешит мертвец: на нем изящный фрак"; "пока не откроет могила сырая объятья — тащиться без важного дела"; "поглядите, вот бессильный, не умевший жизнь спасти"; "он больше ни во что не верит, себя лишь хочет обмануть"; "и к вздрагиванию медленного хлада усталую ты душу приучи"* и т.д.

Большинство стихотворений, из которых я привожу цитаты, еще не было написано А. А. в феврале — марте — апреле 1908 года; но я провидел их в духе; и тут: ужаснулся я; помню, что лейтмотив *ночи, смерти* переживался и мною в глубинах сознания:

Слепи, —
Слепая ночь!
Глуши, —
Глухая смерть!..

(А. Белый)

Эти строчки стояли уже над душою моею; по вечерам, совершенно измученный, я лежал на зеленом диване своем, чутко вслушиваясь в звуки моцартовских похоронных мелодий, которые за стеной наигрывала моя мать; приподымался во мне образ А. А., *отступившего в ночь;* быть может, в то самое время, он дома, склоняясь над *"Песнью Судьбы"*, переживал, как и я, одиночество своей опустевшей квартиры, чтобы остаться до августа в Петербурге; я в то время особенно верил в чтение душ — на расстоянии, в телепа-

тизм (со мной не раз происходили феномены телепатии); я старался прочесть его душу; и на меня наплывала такая картина сознания А. А., какою представил ее из цитат третьего тома; и я вскакивал с моего зеленого ложа, прислушиваясь к похоронным звукам рояля: ну да! Наши зори сгорели; и *пепел* остался от нас (*"Пепел"* я изживал); но в отношении к пеплу зари в нас, казалось мне, мы — расходимся; я заключил пепел в *"Урну"* (и "Урна" писалася мной); благоговением к прошлому был переполнен я; думал я: "Да, не нам дано свершить действие сведения *света в жизнь;* и вот мы — умираем; но свет — есть; и жизнь — есть". Отношение к собственной гибели у А. А. возмущало меня; мне казался его проницающий скепсис — цинизмом; а слухи, ходящие о его жизни (он пьет-де и кутит), которые я отталкивал от себя, но которые все-таки проницали меня, — эти слухи разыгрывались в картины цинизма: в обстановке петербургских литературных кругов эта гибель души представлялась мне увенчанием лаврами поэта Блока. Впоследствии А. А. написал:

Молчите, проклятые книги, —
Я вас не писал никогда!

Но пока не были написаны эти слова мне жест Блока гласил: "Прославляйте меня, книги, повествующие о моей личной гибели: вы все же увековечиваете меня!" И я почти вскрикивал:

— Какою ценою!

Так заочно в глубинах сознания моего я с Блоком рассорился; вероятно и в нем происходили подобного рода разговоры со мною; — из пустой, холодной квартиры своей на Галерной[74], быть может, смотрел на меня он с укором за... хотя бы *хулиганскую песенку:*

Тили-тили-тили дон —
Жили-были я да *он*...
. . . .
Со святыми упокой —
Придавили нас доской[75] и т.д.

В этот период и вышла моя Симфония *"Кубок Метелей"*, в которой святое — становится: *ветром да снегом.* Я знаю, что *"Кубок Метелей"* казался А. А. — и жеманным, и темным: манерным, кощунственным; я же не видел еще всей кощунственности *"Кубка Метелей"*.

Дети света, —
Вот два просвета:
Рождение и смерть —
Просветы в твердь[76].

Нарочитый стиль *"раешника"* в некоторых местах книги — разве не кощунство?

Словом, во мне есть уверенность, что для А. А. образ мой подменился, так именно как во мне подменился весь образ его; все то происходило: в унылые

месяцы темной реакции, когда учащались *клубы* ("огарки") среди молодежи; господствовала санинoвская психология; зловонием уже лопался над Россией Азеф; делалось страшно; а мы (А. А., я), ощущая всю гибельность атмосферы, смотрели уже друг на друга как на бациллоносителей страшной болезни; тяжелого скепсиса и цинизма; во мне поднимался естественный жест: оспорить А. А.: не дослушав моцартовской ясной мелодии, я убегал в ночь, в метель, в слякоть, в ветер; и складывались строки:

Пусть ризы снежные в ночи
Вскипят, взлетят, как брошусь в ночь я,
И ветра черные мечи
Прохладным свистом изрежут клочья[77].

Потом возвращался домой, гасил свет; и ночами тупо глядел в окна комнаты: и бессонною ночью складывались во мне строки:

А в окна снежная волна
Атласом вьется над деревней;
И гробовая глубина

Навек разъята скорбью древней...
Сорвав дневной покров, она
Бессонницей ночной повисла —
Без слов. Без времени. Без дна,
Без примиряющего смысла[78].

Мне казалось: комната моя переполнялась тоскою моею; тоска от меня отделялась, *наклоняясь черным моим двойником надо мною.*

С угла свисает профиль строгий
Неотразимою судьбой.
Недвижно вычерчены ноги
На тонком кружеве обой.
. . . .
Он тронулся и тень рассыпал.
Он со стены зашелестел;
И со стены бесшумно выпал,
И просквозил, и просерел[79].

Эллис, из всего сотворявший кошмарные мифы, однажды пытался уверить меня, что у меня есть двойник, — *черный профиль*, который он видел; однажды, когда я в порыве тоски убежал поздно вечером из дому и где-то слонялся по улицам, прибежал ко мне Эллис (он прибегал во все часы дня и ночи); мама не удивилась ночному приходу его, проводила его в мою комнату; он уселся над книгою, поджидая меня; вдруг ему показалось, что в полуоткрытую дверь шмыгнул *черный контур* (мой черный контур); и перепуганный Эллис бежал быстро (все в доме спали), забыв закрыть дверь. С этого случая Эллис стал часто доказывать мне, что у меня — *черный контур*, что *тень моя* от меня убежала; и действует где-то без моего контроля, что должен прибрать я к рукам ее; и — да: странные раздвоения сознания

меня посещали; жизнь второй половины сознания диктовала порой совсем неожиданные жесты души; и таковыми были — припадки *боли и полемической злости;* в то именно время вышла книжечка драм А. А. — с обложкою Сомова; книжечка, из которой опять на меня из А. А. поглядели и *скепсис,* и *смерть,* — преисполнила меня стремительной полемической злостью; и тут неожиданно я написал обиднейшую рецензию на драмы (сколько раз потом я готов был рвать волосы за то, что она-*таки* была напечатана); чтоб наказать себя, перепечатываю ее здесь как образчик медиумического истеризма, в котором порой заставал я себя (*черный контур* овладевал моими поступками: тень становилась хозяином тени).

Вот эта рецензия*, озаглавленная *"Обломки миров"*.

Обломки миров*

"Пусть поэт творит не свои книги, а свою жизнь, — говорит В. Брюсов. — На алтарь нашего божества мы бросаем самих себя"[80].

"Пусть поэт творит свои строчки, а не свою жизнь", — как бы возражает ему А. Блок... — "На алтарь Ничего мы бросаем наше божество и себя".

Символ — соединения; символизм — соединения образов созидающей воли — для чего? Все равно, для здешней или будущей, старой иль новой жизни, но жизни. Чем глубже внутренний путь, тем новее, загадочней образы, тем более усилий затрачиваем мы, современники, для познания и переживания созданной ценности: таково было для современников появление "Заратустры".

Но есть символизм и иного рода: соединение обломков когда-то цельной действительности (той или этой), соединение первичных ассоциаций души, безвольно сложившей оружье перед роком.

За первого рода символизмом — рождающая действительность будущего, предощущаемого, как греза. За второго рода символизмом: небытие, великий мрак, пустота.

Блок — талантливый изобразитель пустоты: пустота как бы съела для него действительность (ту и эту). Красота его песни — красота погибающей души, красота *"оторопи"*, а не красота созидания ценности.

Вот перед нами изящный томик в картонном переплетике; обложка Сомова, как венок из роз, венчает книгу; переверните обложку: вас встретит предисловие "Лирика не принадлежит... к областям... творчества, которое учит жизни"... Далее узнаем, что переживания лирики хаотичны; чтобы разобраться в них, нужно самому быть *"немножко в этом роде"*; под обложкой в предисловии встречает вас пустота мысли. Далее встречает вас ароматный венок самого творчества: символы, как розы, гирляндою закрывают смысл и цельность переживаемых драм; приподымите эту гирлянду, на вас глянет провал в пустоту; грациозно, нежно, трогательно слетают туда образы Блока током розовых лепестков.

* "Весы" за 1908 год.

вигалось безденежье; я был должен работу над *"Петербургом"* оставить; и — помышлять о газетах (нежеланьем перепечатывать уже распроданные произведенья и задержкою *"Путевых заметок"* сажал меня на мель тот именно *"Мусагет"*, о котором провозглашалось: "Вы знаете, *"Мусагет"* существует ведь для Андрея Белого!" Так думал Иванов; и — многие очень).

Вдруг получаю из Петербурга письмо: от А. А.; пишет он: слышал о денежных затрудненьях моих; и о том, что предстоит очень трудная ответственная работа мне, которая требует сосредоточенности; он же после отца получил небольшое наследство; поэтому просит принять он меня взаймы 500 рублей, которые ему ничего не стоит послать, но которые могут, быть может, меня поддержать в моей трудной работе. Письмо все — проникнуто очень большой деликатностью; и отказать уже А. А. я не мог; на сердечную, дружелюбную помощь со всей простотою сердечно ответил: принятием помощи; да — я нуждался; три месяца сосредоточенной работы над *"Петербургом"* не мог бы я вынести, если бы не заем у А. А.; мне ведь *"Русская Мысль"* не дала ни гроша; между тем мне поставила ряд условий; и кроме того: мне назначила унизительный гонорар (чуть ли не 75 рублей за лист прозы, в то время, как Л. Андреев за лист получал ведь не менее 1000); назначая тот нищенский гонорар, В. Я. Брюсов посмеивался надо мною в присутствии Аси:

— Борис Николаевич: у *"Русской Мысли"* — нет денег. Тому плати, этому... надо кого-нибудь поприжать... Вы же, вы человек — неземной... ну скажите мне: для чего деньги вам? Если уж прижимать кого, то конечно же — вас!

Так присылка мне Блоком 500 лишь рублей была стимулом возникновения *"Петербурга"*. Поэтому А. А. Блока считаю я: вдохновителем *"Петербурга"* и подлинным автором восстания к жизни его.

И писал регулярно я, разделивши 12 печатных листов, или 200 печатных страниц, на три месяца (должен был не менее 3 раз, переписывая, переделывать текст); положил я себе: каждый день отрабатывать не менее 20 страниц (письменных): хочешь не хочешь — пиши; и — писал.

Уж с конца октября наступил такой холод на *"расторгуевской"* даче, что с Асей ввалились в Москву мы[56]: в квартирочку Поццо, где обитали Наташа и Таня (в Шестом Ростовском); ютились в одной очень маленькой комнатке; все-таки: не было денег почти; и работал я (проживая последние деньги) до нервного переутомления; А. А. Рачинская пригласила в Бобровку нас, где пробыли мы почти весь декабрь, где оканчивал я переделку 14-ти, а не двенадцати листов *"Петербурга"*.

Попали (теперь уже с Асей) в все те же старинные комнаты; хмурились те же ели; портреты немеющих предков Рачинского (в лосинах, в робронах) глядели на нас из черневших от времени рам: утром, вечером, днем; Асе было немного и грустно, и жутко в тишающем доме; поскрипывали по вечерам половицы; казалося ей: ходят — предки; мне помнится: Ася сидит у окна (что-то шьет) в очень-очень просторной столовой; я, около стены сижу, сгорбленный, перечеркивая раз в четвертый исписанные страницы, или читаю ей, только что переделанное, или же мы углубляемся в книги по оккультизму;

уже темнеет, а в окнах метет: громче, громче гремят вихряные рога; громче, громче невеста метель завивается в окнах и снегом, и ветром; и хлещет крылами, насвистывая безглагольную песню свою; и — темнеет совсем; где-то рядом проходят с огнем: пятна света по потолку побежали, остановились, застыли; затеплим мы свет с ней; и — разговариваем о том, что надвигается что-то большое-большое-большое на нас; или слушаем поступь событий.

В последние дни пребыванья в Бобровке присоединился Петровский к нам; мы втроем коротали морозные, эти декабрьские дни; надвигалося Рождество; и мы тронулись (кажется вместе) — в Москву[57].

По приезде в Москву *"Русской Мысли"* предоставил я до 14-ти печатных листов, возлагая надежды на злополучную 1000; и увы: 1000 не получил; получил лишь уклончивые ответы от Брюсова, что роман мой сперва подлежит рассмотрению Струве (в моем же сознании о цензуре здесь не могло быть и речи); да, да: предпочли *"Петербургу"* длиннейший роман Абельдяева[58]; от Струве же — получил я письмо, что *"Петербург"* он не может печатать в журнале; и — даже он, Петр Бернгардович, был бы весьма опечален, если бы вообще появился роман где-нибудь: тут мне жаль стало — Струве: отказ напечатать роман огорчил меня, с денежной стороны: обманули меня; заказали и — отняли только рабочие месяцы, не заплатив ни гроша; мы с Асей остались почти что голодными — с половиною *"Петербурга"*. Считаю: роль Брюсова в этом деле отнюдь красотою не блещет[59].

С этого времени к Брюсову у меня водворилось одно отношение: шапочного знакомства.

Да: грустное Рождество встретил я; все надежды на деньги исчезли: негодование Булгакова, сватавшего меня с *"Русской Мыслью"*, не утешало меня: сочувствие сердечного, чуткого человека, когда почти нечего есть, — что оно значит? А *"Мусагет"* — не пришел мне на выручку; так мы встретили Новый Год. Тут позвал нас Иванов к себе; и мы с Асей охотно отправились к Вячеславу: на *"башню"*.

В глухом ресторанчике

В январе в тридцатиградусный колкий мороз мы приехали в Петербург[60]; отправились тотчас на *"башню"* Иванова и оттуда поехали за вещами: в гостиницу, потому что Иванов с пленительным гостеприимством, которому противостоять невозможно, перетащил-таки нас; мы на *"башне"* и зажили; не изменилось ничто здесь: господствовали те же нравы; вставали, когда зажигались огни; и ложились спать — утром.

Мне было на *"башне"* легко; Ася быстро сошлась с Вячеславом Ивановым; перешучивалася с ним, мотая кудрями, а он добродушно над нею подтрунивал; я любил видеть их, как они наклонялись над шахматами, забывали все в мире, — по вечерам, на софе. Так к чаю являлся Кузмин; приходил Гумилев, в это время женившийся на поэтессе Анне Ахматовой; приходил очень часто Явойлов (Княжнин), остроумный, глубокий и тонкий; и приходил

добродушный Верховский; звонился изысканный, брызжущий откровениями духовными Недоброво; стихотворениями Недоброво я тогда увлекался; являлся Скалдин; заводилась А. Н. Чеботаревская в комнатах; буйствовал словом профессор Аничков; и — прочие: в этот приезд наиболее замечательным мне казался Недоброво; и пленял своей чуткой мудростью, пониманьем, писатель Княжнин.

Отказ Струве печатать роман *"Петербург"* произвел здесь сенсацию; негодовали по адресу Брюсова; и меня поддержали морально: Иванов устроил на *"башне"* ряд чтений моих, которые имели успех средь писателей; из присутствовавших на чтениях помню: Аничкова, Кузмина, Гумилева, Ахматову, Городецкого, гр. А. Н. Толстого (с женою), Недоброво, Княжнина, Пяста, И. В. Гессена[61], С. И. Гессена; В. И., проф. Е. В. Аничков мне оказали в те дни очень дружескую поддержку, подчеркивали, чтобы я не бросал *"Петербурга"*, что он — настоящее, крупное произведение русской литературы; Ф. К. Сологуб, у которого с Асей обедали мы, мне сочувственно выказал солидарность, естественно негодуя на Брюсова и подчеркивая, что *"Андрея Белого"* подвергать цензуре — нельзя (он впоследствии рекомендовал *"Петербург"* одному из издательств, какому — не помню); забракование *"Русскою Мыслью"* романа уже становится *"притчею во языцех"* и выглядело *"скандалом"* оно не для меня, а для Брюсова; с той поры начинаю я получать предложения отовсюду: о напечатании *"Петербурга"*; поддержка Иванова и Аничкова мне давала возможность: продать *"Петербург"*, ликвидировать денежный кризис.

И кстати сказать: *"Петербург"*, то заглавие романа придумал не я, а Иванов: роман назвал я *"Лакированною каретою"*; но Иванов доказывал мне, что название не соответствует *"поэме"* о Петербурге; да, да: Петербург в ней — единственный, главный герой; стало быть: пусть роман называется *"Петербургом"*; заглавие мне казалося претенциозным и важным; В. И. Иванов меня убедил-таки назвать мой роман[62].

Все это время мы с Асей бывали: у Сологуба, у Городецких, у Аничкова, у Гумилева. И отношение к нам было всюду радушное, теплое. Прожил в Петербурге четыре недели (а Ася поехала ранее — приготовляться к отъезду: в Москву); я прочел две публичные лекции; и прочел свои лекции в *"Обществе ревнителей художественного слова"*[63]*: о ритмике русского пятистопного ямба и о стихиях в поэзии Тютчева, Пушкина, Баратынского; кроме того: я участвовал в происходившей полемике меж символистами и акмеистами на волновавшую тему: есть ли символизм, развиваемый нами, лишь школа в искусстве, иль — миросозерцание; помнится вечер: с Ивановым мы произнесли декларацию символизма (докладами: эти доклады впоследствии появилися в № первом "Трудов и дней"*[64]): Гумилев, Чудовской и Кузмин нас оспаривали.

Разумеется: первые же вопросы мои, обращенные к В. Иванову, обращалися к Блоку: что он, и — можно ли его видеть? Иванов сказал, что Блок пробегает обычную полосу мрачности (полосы эти порой на него нападали); он-де затворился от всех, никого не пускает к себе; его видеть — нельзя.

Вместе с тем: в В. Иванове я заметил какую-то сдержанность по отношению к Блоку: какое-то сдержанное стеснение — что ли; он выражался туманно и смутно; я понял одно: с Блоком — что-то неладно; я знал, что Блок летом предпринял с Л. Д. путешествие заграницу[65]; и побывал он в Берлине, в уютнейшем Кельне, в Париже, что жил он в Бретани, купаясь в океане; Европа произвела впечатление на него очень-очень *"чудовищной бессмыслицы": "В каждом углу Европы уже человек висит над самым краем бездны"*[66]*. В конце сентября 1911 года вернулся он в Питер. Теперь начались увлечения его мрачным гением Стриндберга[67]; с этим последним его познакомил В. Пяст; и мне думается, что все приближало А. А. к глубочайшему впечатлению от Стриндберга: чувство гибели, ощущение гонений переживали мы все в эти годы; так: мрачность А. А. происходила от изживания тем, приближающих к Стриндбергу.

Раз у Иванова невзначай сорвалось: "Блок же *пьет* — *пьет* отчаянно!" Я не расспрашивал Вячеслава Иванова о бытовой стороне жизни Блока; казалось, что все-все-все располагало к тому, чтоб мы встретились с Блоком; но встречи с А. А. в Петербурге теперь затруднялися тем обстоятельством, что, находясь с Любовь Дмитриевной в ссоре (года не видались уже), не мог посетить я А. А. у него на квартире; писать же ему и выпрашивать встречу — нет, нет: не хотелось.

Увидевши Пяста вполне получил подтверждение, что А. А. — очень мрачен; недомогает, и — затворился от всех (впрочем с ним, с В. А. Пястом, встречался он изредка), что А. А. уже слышал об этом приезде моем и хотел повстречаться, но очень просил никому не промолвиться о желании этом, особенно Вячеславу Иванову; к Вячеславу Иванову А. А. чувствовал охлаждение, о чем гласят строчки стихов, посвященных В. Иванову и написанных в этот же год: в них, строчках, вспоминает он прошлое, пережитое с Ивановым (вероятно то — 1906 — 1907 года, нас с А. А. разделившие):

Из стран чужих, из стран далеких
В наш круг вступивши снеговой,
В кругу безумных, темнооких
Ты золотою встал главой.
Слегка согбен, не стар, не молод,
Весь — излученье тайных сил,
О, *скольких душ пустынный холод*
Своим ты холодом пронзил[68].

Намечается в Блоке — здесь явственное разочарованье в Иванове; и вместе с тем: разубеждение в годах, выдвигавших *"мистический анархизм"*, на который так пламенно мы, москвичи, нападали когда-то. В те годы А. А. спел с *Ивановым стих:*

... И наши души спели
В те дни один и тот же стих.

---

* Из писем к матери.

Признается он —

— друга
В тебе не вижу, *как тогда.*

Во всех домыслах Вячеслава Иванова, обращенных по адресу Блока, я чувствовал: грусть. Отчуждение это казалось мне продолжалось года...

Через несколько дней после тихого, уединенного разговора с В. Пястом я получаю чрез Пяста (украдкою) небольшую записку, в которой А. А. приглашает меня на свидание в небольшом и глухом ресторанчике (где-то около Таврической улицы[69]); я в условленные часы прихожу; ресторанчик убогий, но совершенно пустой, — располагал нас к уюту; я вижу А. А. ждет меня; он — единственный посетитель — встает из-за столика: с очень приветственным жестом; одет он в просторный и скромный пиджак был, подобный тому же, в котором я видел его год назад. Он осунувшийся, побледневший, но весь возбужденный какой-то (в Москве возбуждения этого не было в нем) ко мне обратился; что-то в облике его переменилось; остались вполне лишь "глаза" (усмиренные, ясные, добрые); стиль его отношения ко мне узнавал безошибочно я: по глазам и губам; и — потому-то в воспоминаньи о нем рисовался он мне то повернутым в профиль, то подставляющим *"face"*. Когда нечто лежало меж нами, что нас отделяло, не видел я детских, больших голубых его глаз; мне казались они зеленоватыми, серыми, полуприщуренными; и не видел я этой пленительной, над лицом восходящей улыбки, а видел кривую улыбку; или — надменно сомкнутые губы. Так с первого взгляда, мной брошенного на А. А., понял я, что меж нами все те же хорошие отношения и что мы бы могли разговор наш последний в Москве продолжать, точно он был вчера. Между тем: в моей жизни свершались крупнейшие перемены; в его жизни? — Что-то происходило с ним (я видел то). Но так уже устанавливалось между нами: события личные наших жизней не задавали теперь всей тональности встреч (прежде было не то); обстановки встреч, лиц, разделявших нас, не было; из бессмертного, непеременного центра, из "Я" в "Я" другого глядели мы, будто души, тела, оперение переживаний подсолнечных, красочность их, — отлетели уже; и будто бы мы из-за граней сражающей смерти, из вечно засмертного (где нет ни красок, ни образов) смотрим друг на друга. Глухой ресторанчик, иль блестящий зал, Москва, Петербург или Шахматово, Европа иль Азия, или Марс, иль Сатурн — помню много моментов меж нами, когда не имели б значенья для тем разговоров, которые мы вели, эти малые или большие перемещения места; все — призрак: при-зрение, т.е. то, что вокруг прилипает к глазам (ресторанчик, квартира иль улица — то, что стоит "у *лица*"); действительность — действия наши — выносят на улицу нас; но улица — то, что стоит "у *лица*", что не может уйти от лица, что *прилично: отличное где?* Да, да: зрение есть созревание; *"зрак"* есть *"зерно"*; — *созревание* — зрение с кем-нибудь вместе; *созреет* лишь тот, чьи глаза отвечают глазам.

Этот скромненький ресторанчик, его желтый крашеный пол, освещаемый желтым светом, коричнево-серые стены с коричнево-серыми полинявшими шторами и с прислуживающим унылым и серым каким-то лакеем (с опущенным правым плечом и привздернутым левым), — тот серенький ресторанчик скорей подходил к разговору, чем эти сиянские оперенья природы, или блестящая, переполненная военными зала у Палкина, где когда-то мы встретились вместе раз; стиль нашей встречи теперешней был — стилем *"страшного мира"* (из третьего тома стихов); да, мы не были ныне уже дети *"Божии"*, как когда-то нас кто-то назвал: дети *"страшных лет"* жизни России — несли бремя страхов.

Мы руки пожали друг другу, поцеловались и обнялись; я сердечно благодарил А. А. за оказанную им денежную поддержку; А. А. стал отмахиваться:

— Ты, Боря, пожалуйста не думай о возвращении денег; отдашь, когда сможешь; мне ведь осталося от отца небольшое наследство; его хватит мне... Если бы я нуждался, а ты бы мог помочь мне, то неужели же не помог бы?..

Мы сели: Блок, тихо склонившись, подробно выспрашивал об истории с "Русской Мыслью"; при упоминании о роли Брюсова в этом, он стал усмехаться:

— Валерий Яковлевич, ну конечно же — верен *себе...*

История не удивила его; А. А. Блок никогда не подвержен был склонности: переоценивать Брюсова; этой склонностью мы страдали в Москве; каюсь, я сколько раз лез из кожи вон провозглашать замечательным человеком его; и со сколькими я перессорился из-за Брюсова; в 1904 году А. А. назвал его *"математиком"*, т. е. тем, кто измеривает и взвешивает: строчки, рифмы, размеры, способности, переживания души: примеривает и не только при-меривает, считает, рас-считывает, про-считывает и порою в метафорическом смысле об-считывает; отношение к Брюсову в нем создалось искони *"ироническое"*; мы, естественно, разочаровавшиеся в Брюсове после лавров, которыми мы венчали его, переходили в противоположную крайность; А. А. был спокойнее, может быть, справедливее к Брюсову; зная, на что он способен, он все-таки в пору нападок на Брюсова отмечал в нем действительность поэта и все-таки, очень незаурядного, крупного человека:

— Да, да, — у Валерия Яковлевича по отношению к тебе проявилась тут лишь обычная его *"магия"* — так он сказал мне; и глаза его иронически лишь блуждали по столикам, и застыла улыбка, как будто бы он говорил:

— Не рассказывай: знаю, все знаю.

Более, по-моему, *не* понравилось ему поведение Струве; шутя, мне припомнил он мой же рассказ ему, как нас, Общество Свободной Эстетики, Брюсов, его председатель, гнал в качестве главного директора Литературно-Художественного Кружка, прижимая к груди свои руки и слезно жалуясь И. И. Трояновскому и Серову (на заседании Комитета Эстетики):

— Знаете ли, Иван Иванович, — они гонят нас вон: говорят, будто бы выгодно им сдавать помещение нам.

И в ответ на печальную жалобу приходящего в отчаянье Брюсова относящийся более чем мягко к нему Трояновский не мог не воскликнуть:

— Позвольте же, Валерий Яковлевич, да кто ж гонит нас: вы? Вы ведь главный в Кружке?

И действительно: в это именно время В. Я. наводил экономию на финансы Кружка и себя самого (вместе с нами) изгнал из каких-то расчетов: директор Кружка, В. Я. Брюсов, гнал основателя общества и председателя В. Я. Брюсова; и на поступок директора Брюсова по отношению к председателю Брюсову огорченно, взволнованно жаловался он "Комитету Эстетики"; помню я едкий и полный сарказма вид В. А. Серова, который, как помнится, произнес, тихо-тихо, сквозь зубы:

— Что ж коли гонят, тут ничего не поделаешь: надо приискивать помещение.

И действительно, что можно было поделать В. Брюсову, когда гнал-то его тот же Брюсов: *"Кружковский"* — *"Эстетского"*.

Этот-то случай и рассказал я А. А. в его бытность в Москве; он тогда рассмеялся; ужасно понравился случай, характеризующий Брюсова:

— Весь Валерий Яковлевич тут вылился, — сказал мне А. А.; и теперь, по поводу случая с забракованием "Петербурга" в пользу громоздкого абельдяевского романа, А. А. принялся мне шутливо оправдывать Брюсова:

— Ведь Валерий Яковлевич играет: бескорыстно совсем из любви к искусству — не более, делает он, — тут А. А. употребил очень крепкое слово, которое в переводе на менее крепкое выражение означало "поступки не подходящие к кодексу обычной морали"... Но Струве считал он ответственней, потому что — *"общественник"* Струве (Брюсов в смысле общественности был сознательно и намеренно беспринципен); к общественности относился А. А. в это именно время серьезно и строго; и от *"общественников"* он требовал многого. В воспоминаниях Княжнина отмечается, что как раз в это время (в конце 1911 года: разговор же наш происходил в начале 1912-го) А. А. увлекался общественностью; Княжнин пишет: "А. А. *скупил целую серию революционных книжек, выпущенных в предшествующие годы*... В статье своей *"Памяти Августа Стриндберга"* А. А. *отмечал, что "ему хочется назвать старого Августа"* — товарищем. С этим словом "связаны заветные мысли о демократии, это — самое человеческое имя сейчас"[70]. Потому-то отказ П. Б. Струве печатать роман, специально заказанный мне, отнимавший все время без гарантии оплаты труда, — этот резкий отказ он считал *необщественным* поступком общественника. Не поведение Брюсова возмутило его, а поведение "Русской Мысли", как органа *"общественной мысли"* по отношению к писателю-бедняку. Разбирая поступок тот, вдруг рассердился он; и меж бровей его появилась глубокая складка.

Перейдя снова к Брюсову, весело он рассмеялся. И на минуту проснулся теперь *"юморист"* былых лет; в наших встречах последних уже не было в нем того юмора легкого, — появился оттенок сарказма в юмористических вспышках: сам юмор стал гуще, тяжелей, мрачней.

Скоро мы перешли на его состояние сознания; и я передал ему, что кругом говорили о том, как он мрачен и как удаляется он от людей.

— Это, Боря, и так, и не так... Тут ведь были другие причины. Я, видишь ли, болен был...

Стал мне рассказывать он, что в последнее время он вдруг занемог; и сперва все не мог осознать непонятного недомогания; даже подумал, что заразился одной неприятной болезнью; доктора подозревали сперва ту болезнь, ему сделали впрыскивание; лишь потом обнаружилось, что болезнь — совершенно иная (на почве нервов); и он успокоился:

— Видишь, это совсем ведь не то, что тебе обо мне говорили...

И он посмотрел на меня грустным взглядом; и улыбнулся, слегка отвернувшися, — пустым столикам;

— Из вот этого моего рассказа ты можешь сейчас заключить, что за жизнь я веду.

И опять посмотрел на меня вопросительно, грустно; тряхнув головой, протянулся к стакану вина.

— Да, я — пью... И да, — я увлекаюсь: многими!..

И опять поворот головы: и улыбка — в гардины.

Тут он начал рассказывать мне о характере своей жизни и о причинах, которые его толкают периодами к тому образу жизни, могущему показаться беспутным; он говорил о *"цыганщине"*, как одной из душевных стихий; и под всеми его словами, во всем столь не свойственном для него возбуждении, проступала глубокая грусть человека, терявшего внешнее равновесие вовсе и что-то увидевшего в областях "Мира-духа", но вовсе не там, где ожидал он увидеть (не в заре), а в потемках растоптанной и в тень спрятанной жизни; из всего, о чем он говорил, вырывался подавленный окрик: "Можно ли себя очищать и блюсти, когда вот кругом — погибают: когда — *вот какое кругом!*"

В эти года А. А. увлекался цыганами; М. А. Бекетова пишет о лете 1912 года: *"И в это лето, как всегда, он слушал цыган. По поводу концерта Раисовой он пишет: "У цыган, как у новых поэтов, все странно". Год назад Аксюша Прохорова пела: "Но быть с тобой и сладко и странно". А теперь Раисова поет: "И странно, и дико мне быть без тебя"*[71]. В этот период у него было много встреч с женщинами; вот отрывки из писем к матери: *"Мама, ко мне вчера пришла Гильда. Меня не было дома, когда пришла девушка, приехавшая из Москвы, и просила меня прийти туда, куда она назначит... Ей 20 лет, она очень живая, красивая (внешне и внутренне) и естественная. Во всем до мелочей, даже в костюме — совершенно похожа на Гильду, и говорит все, как должна говорить Гильда"*[72]. Или: *"Я нашел красавицу еврейку, похожую на черную жемчужину в розовой раковине"*[73]...

Эти многие появления женщин пред Блоком вместо утраченной, прежней одной, происходили в атмосфере *"страстного"* состояния сознанья его, в визге цыганского напева и часто весьма: *"за бутылкой вина"*.

Из хрустального тумана,
Из невиданного сна
Чей-то образ, *чей-то странный...*
(В кабинете ресторана

за бутылкою вина.)
*Визг цыганского напева**
Налетел из дальних зал,
Дальних скрипок вопль туманный...
Входит ветер, входит дева
В глубь исчерченных зеркал[74].

Мне известно, что в жизни Блока бывали встречи не только с аллегорической *"Гильдою"*, относительно которой, пожалуй что, можно сказать:

Взор во взор — и жгуче-синий
Обозначился простор[75].

Были встречи — без *"взора во взоре"*; был и —

Красный штоф полинялых диванов,
Пропыленные кисти портьер, —

— после которых А. А. внутренне восклицал:

Разве дом этот — дом в самом деле?
Разве так суждено меж людей?[76]

К этой-то стороне его жизни и относились слова его, сказанные мне в сереньком ресторанчике, когда он улыбнулся в полуобороте — пустым столикам:

— Из вот этого моего рассказа ты можешь сейчас заключить, что за жизнь я веду.

Он подчеркивал: в сфере стихий внешней жизни подвержен он всяким случайным опасностям, неприятностям — вплоть... до...до заболевания; он пытался, весьма возбужденный, мне сделать понятным, естественным, почему *это* так, не *иначе:* и почему-то — судьба его, которую он принимает смиренно; и в визге, и в свисте метели, в объятиях бесшабашного ветра слагались поверхности этой мучительной жизни (отсюда же особое тяготение к Аполлону Григорьеву); между тем: в тайниках этой жизни отслаивались огромные и чреватые мысли о новой России "дите": *"В музыке мирового оркестра, в звоне струн и бубенцов, в свисте ветра, в визге скрипок — родилось дитя Гоголя. Этого ребенка он назвал Россией"*[77]. Или: *"Среди нас появляются бродяги... Можно подумать, что они навсегда оторваны от человечества, обречены на смерть.* Но *бездомность и оторванность их — только видимость. Они вышли, и на время у них "в пути погасли очи"; но они знают веянье тишины"*.

Или: *"Это — ... пляска тысячеокой России, которой уже терять нечего; всю плоть свою она подарила миру и вот, свободно бросив руки на ветер, пустилась в пляс"*. Или: *"Вот русская действительность — всюду, куда ни оглянешься — даль, синева и щемящая тоска неисполненных желаний"*[78]. Или

---

* Курсив всюду мой.

в своей замечательной статье *"О современном состоянии русского символизма"* он пишет: *"Так или иначе лиловые миры захлестнули и Лермонтова... и Гоголя...; еще выразительнее то, что произошло на наших глазах: безумие Врубеля, гибель Комиссаржевской; недаром так бывает с художниками сплошь да рядом, — ибо искусство — чудовищный... Ад; из мрака этого ада художник выводит свои образы. Так, Андрей Белый бросает в начале своей... повести...вопрос:* "А небо? А бледный воздух его, сперва бледный, а коли приглядишься, *вовсе черный воздух"... Но именно в черном воздухе Ада находится художник, прозревающий иные миры"*[79].

Этот *черный его проницающий воздух,* который так естественно напугал меня в 1904 году, во время шахматовой прогулки с А. А. (в поле), — окончательно окружил А. А. в 1912 году; *голубая* тишь сквозь *лиловые миры* тома второго стихов предвещали теперь подхождение А. А. к рубежу, к роковому порогу: к порогу, делящему душу от Духа; недаром боялся я в 1905 году погружения в *лиловые* отсветы его *"Ночной фиалки"* (разговор у него в кабинете). О тех пахнущих лилово-зеленых тонах из *"Нечаянной Радости"* я писал уже; цвет лиловый встречается и в статьях того времени (1906 года): "Всадник видит молочный туман с *фиолетовым просветом*". Или: "Узнавший это счастье будет вечно кружить по болотам... в *фиолетовом* тумане"... Или: "Самый страшный демон нашептывает нам теперь самые сладкие речи: пусть вечно смотрит сквозь болотный туман прекрасный *фиолетовый* взор Невесты".

Недаром же в 1905 году увлечение *фиолетовым тоном* меня за А. А. испугало: через шесть лет уже те вдыхания *тона* в себя у А. А. ведь исторгли горчайшую фразу о состоявшемся в нем опознании этого красочного оттенка: *"Лиловые миры* захлестнули и Лермонтова... и *Гоголя". От них погибли: и Врубель, и Комиссаржевская.*

Все это мне вспомнилось в разговоре с А. А.; и подумывал я: *"Лиловые* те миры завели его в ночь". Ночь казалась порогом и испытанием; припоминались слова Минцловой о губящих нас силах; и о *враге,* нас губящем; я знал: увлечение А. А. Стриндбергом, автором *"Ада"*, есть притяжение к человеку, переживающему очень родственное А. А.; этот ад и все *преследующие, все черти,* с ним связанные, в представленье моем объяснялись как испытание порога, откидывающего наше бренное "Я" от духовного"Я"; под влиянием этих мыслей я начал рассказывать Блоку историю моей внутренней жизни за эти последние годы: и попытался раскрыть ему мной составленный взгляд на *черта,* попутавшего и меня, и его, и Л. Д., и С. М. Соловьева когда-то; я попытался ему передать все события странные, происходившие со мною в то время и неизменно толкавшие меня к поискам строгого морального братства ищущих пути; я ему рассказал все, что можно, о встрече с исчезнувшей Минцловой, о руководстве ее над моими *"духовными упражнениями"*; передал и ее уверение, будто бы за нею стоят *"посвященные"*; рассказал о болезни ее и таинственном исчезновении ее; рассказал, как прощаясь со мною, оставила мне она кольцо с аметистом, сказав, что когда придут ко мне люди от Духа и вопросят о *кольце,* то его показав им, найду я путь Духа; я ему передал, как

ждал сперва *встречи* я; но — не было встречи; и я ничего уже не жду от таинственных *"посвященных"*. Я рассказывал много А. А. об исканиях Аси путей, о теософии, пути посвящении: словом, — рассказ этот был моей исповедью пути пред А. А., долженствующей поддержать его, чтоб он видел, что состояние покинутости, им испытанное, — тоска пред *порогом* судьбы.

А. А. слушал с глубоким вниманием, склонив голову: выслушав он сказал:

— Да, все это отчетливо понимаю я; и для тебя, может быть, — принимаю... А для себя — нет, не знаю: не знаю я ничего. И не знаю: мне — *ждать*, иль не *ждать*. Думаю, что ждать — нечего...

Вероятно А. А., мне внимавший сочувственно и встречавший у Стриндберга те же искания, связанные с духовной наукой, потом говорил своей матери о характере моего устремления того времени, потому что М. А. Бекетова пишет: "В феврале 1912 года приехал в Петербург Б. Н. Бугаев. Саша видался с ним не раз. Эти свидания, состоявшиеся после долгих перерывов, после многих миновавших разногласий, скрепили связь между Блоком и Белым, который тогда связал уже свою судьбу с Штейнером. Лично Блоку теософия была чужда; он писал матери: "Теософия в наше время, по-видимому, есть один из реальных путей познания мира. Недаром ей предаются самые разнообразные и очень замечательные люди во всей Европе"[80].

В этих словах есть неточности; к Штейнеру я подошел только в мае; если бы в феврале кто-нибудь бы спросил меня, захотел ли бы я подойти, связал ли бы я судьбу близко с Штейнером, категорически я бы ответил: "Нет, нет!" К теософии же чувствовал склонность. И еще: с А. А. Блоком я виделся раз всего; но свидание это мне стало значительней многих свиданий: оно мне дало ключ к *"Блоку"* тогдашнего времени: многочасовой разговор очень много открыл мне; и верю: *скрепил наши связи*. Открылося раз навсегда мне, что связывало А. А. с мрачным гением Стриндберга, что диктовало стихи его третьего тома, такие, как *"К музе"*, *"Двойник"*, *"Песнь Ада"*, *"Идут часы, и дни, и годы"*, *"Осенний вечер был"*, *"Унижение"*, *"Демон"*, *"На смерть младенца"* и *"Жизнь моего приятеля"*. И другие.

Между прочим А. А., наклонясь надо мной, облокачиваясь рукой на спинку убогого стула (ведь вот же, я — помню), какого-то желтого, как полы ресторанчика, осведомлялся заботливо о течении болезни *"Сережи"* (С. М. Соловьева), который переживал в эти месяцы очень трудный, критический и ответственный момент личной жизни; события для него очень тяжкие так расстроили нервную систему его, что уже он три месяца находился в лечебнице Лахтина (в ней семь месяцев он отстрадал)[81]; даже нас не пускали к нему; я старался А. А. передать все, что знал, что до нас доходило от страдающего С. М. Соловьева; А. А. слушал меня с напряженным вниманием; и в глазах его вспыхнуло прежнее теплое чувство к любимому прежде и близкому троюродному брату; А. А. спрашивал много об Эллисе; но мы Эллиса в октябре проводили торжественно заграницу; он так собирался, как фанатический правоверный мулла собирается в Мекку: поехал он к Штейнеру (вечер прощальный происходил у Астрова, где душой размягченному Эллису говорились речи; пришел между прочими провожавшими и Веселовский, Ю. А.)[82];

с этих пор Эллис канул и больше не появлялся; не появлялся в России он; из Берлина же он посылал нам: восторженнейшие и подробнейшие описания разговоров и встреч своих с Штейнером; я описал содержание писем А. А.; он — внимал; и потом, вдруг откинувшись и опустивши глаза, принялся очень медленно стряхивать пепел с своей папиросы; вздохнул и сказал:

— Да, вот, — странники мы: как бы ни были мы различны, — одно нас всех связывает: мы — странники; я, вот (тут он усмехнулся) застранствовал по кабакам, по цыганским концертам. Ты — странствовал в Африке; Эллис — странствует по *"мирам иным"*. Да, да — странники: такова уж судьба.

И еще усмехнулся: и мы — замолчали: тут, грянула в совершенно пустом ресторане некстати — машина; какой-то отчаянный марш; и лакей, косоплечий (одно плечо свисло, другое привздернулось), подошел и осведомился, не нужно ли нам чего; кто-то там, в уголке жевал мясо; газ тусклый мертвенно освещал бледно-желтые плиты пола и серо-коричневое одеяние стен; там, за стойкой сидел беспредметный толстяк, надувал свои щеки; и вдруг выпускал струю воздуха из толстых, коричневых губ; делать нечего было ему; он — скучал: слушал марш; и мы — слушали тоже: молчали.

Молчание это в паршивеньком уединеннейшем ресторанчике мне казалось — значительным; чувствовал: Петербурга и нет; нет — проспектов, нет тел; нет и душ; мировое пустое космическое пространство (с иллюзией ресторанчика); и в нем два сознания, духовно вперенных друг в друга: от *"Я"* к самосознающему я.

Мы — молчали: А. А. мне казался, как в 1910 году — не прямым, а каким-то в движениях раскоряченным, потерявшим всю прежнюю, изысканную, светскую стать; об утрате былого, такого блестящего вида А. А., в воспоминаниях своих повествует и Зоргенфрей[83]: "В дальнейшем перестал он и дома носить черную блузу; потом отрекся, кажется, и от последней эстетической черты; и вместо слабо надушенных неведомыми духами папирос стал курить папиросы обыкновенные. Правда, внешнее изящество — в покрое платья, в подборе мелочей туалета сохранил он на всю жизнь. Костюмы сидели на нем безукоризненно и шились, по-видимому, первоклассным портным. Перчатки, шляпа *"от Вотье"*. Но, убежден, впечатление изящества усиливалось во много крат неизменной и непостижимой аккуратностью, присущей А. А... Никогда — даже в последние, трудные годы — ни пылинки на свеже-выутюженном костюме, ни складки на пальто, вешаемом дома не иначе, как в расправку. Ботинки во всякое время вычищены; белье безукоризненной чистоты; лицо побрито и невозможно его представить иным..."

Сколько мы просидели с А. А. — не упомню: но помню, что разговор перешел на мои отношения с Асей: А. А. меня спрашивал, — что, доволен ли я путем жизни; и узнав, что доволен, как будто бы он удивился; но — ничего не сказал.

Вместе вышли на улицу мы; была слякоть; средь грязи и струек, пятен фонарных и пробегающих пешеходов с приподнятыми воротниками (шла изморозь) распрощались сердечно мы; в рукопожатии его, твердом, почувствовал я, что сидение в сереньком ресторанчике *по-особенному* нас сплотило;

я думал: "Когда теперь встретимся?" Знал я, что мы с Асею вырвемся из России надолго.

Запомнился перекресток, где мы распрощались; запомнилась черная, широкополая шляпа А. А. (он ей мне помахал, отойдя в мглу тумана, и вдруг повернувшись); запомнилась почему-то рука, облеченная в коричневую лайковую перчатку; и добрая эта улыбка в недобром, февральском тумане; смотрел ему вслед: удалялась прямая спина его; вот нырнул под приподнятый зонтик прохожего; и — вместо Блока: из мглы сырой ночи бежал на меня проходимец: с бородкою, в картузе, в глянцевых калошах; бежали прохожие; проститутки стояли; я думал: "Быть может, вот эта вот подойдет к нему..."

Мне захотелось остаться совсем одному; не хотелось на *"башню"*, к интересным речам Вячеслава Иванова, думалось: будет расспрашивать он:

— Ну где же ты был? Что ты видел?

Тут неожиданно очутившись пред чайной, свернул я в нее; и — спросил себе чаю: и не прошло получаса, как старый картузник, богоискатель, уже за меня зацепился; возник разговор между нами; картузник меня угостил: поднес водки; и не позволил платить; подчинился я: выпил; и на прощание: облобызались мы.

Возвращаясь на *"башню"*, я все вспоминал о судьбе А. А.; чувствовалось, что трагедия, о которой в литературных и поэтических кругах говорить бесполезно, подкралась к А. А., что стоит у *"порога"* он. Между тем: кажется в этом году был А. А. исключен из тогда лишь сформированного *"цеха поэтов"*[84]: за непоявление в *"цехе поэтов"* без уважительных причин (а может быть, произошло это годом ранее).

"Любовь и Россия" в третьем томе у Блока

Примиреньем кончается второй том стихов Блока иль символическим браком Елены и Фауста; рождается ныне дитя их — стремление, Эвфорион[85], пыл; и об этом стремленьи поэт говорит:

Их тайный жар тебе поможет жить.

Это есть жар пылающих строчек, — тот жар, о котором иные из нас говорили: *"цыганщина"*; но не "цыганщина" это, а жар жизни Блока.

Меняется образ видения Той, про Которую в прошлые годы сказал он: Она — приближается; в первом томе Она гласит ясной Софией, сопровождаемой своею душевной тенью, иль образом Дамы священной, Царицы, читающей золотыми заставками писанную Глубинную Книгу; Царица — отображенье духовного существа; Ее тень на земле, Ее чувствительный образ, есть образ истомной красавицы девушки, Гретхен: Царевны.

Так образ растрояется в первом томе стихов.

В третьем томе стихов осеняет Ее новый образ: является Богоматерью, которую отражает щит светлый воина; щит этот — солнечный; видит Женой, облеченную в солнце Ее.

Был в щите Твой лик нерукотворный
Светел навсегда[86].

Богоматерь является строчками третьего тома; и шествует скорбно перед гробом усопшей девицы во образе, в лике образа: *"Утоли моя печали"*; тень в сфере душевной Ее есть Россия, душа; Блок вперяется в душу народа, как Гоголь; он любит Ее, как Ей верный жених; и — как сын. Эта девушка, Гретхен, Царевна, — воистину отражение русской жизни: теперь для него каждодневная жизнь русской женщины (может быть — Магдалины)[87], которая — в темном грехе, как и в святости — может быть, есть Елена Прекрасная; в третьем томе стихов есть Елена, порою — цыганка; порою — Кармен, Карменсита.

Блок ныне уже национальный поэт: всей земли и всей толщи народа; он — даже: поэт традиционного народничества нашего; перекликаются с ним Есенин и Клюев; с последним считается он; он находится с Клюевым в действенной переписке[88]; поэты народные близки ему (в противоположность поэтам акмеистической школы); он — понял: Россия вынашивает особую тайну в своем отношении к Богоматери, к Ней; в образе Богоматери и снисходит София к России; он понял: интернационал есть тогда только братство, когда гармонически сочетаются *народные души*, не утеривая стихийного лика народа; коль нет, — всякий *"интер"* становится — *"интер"* лежащим[89] и разделяющим души народов: он — преткновенье, препятствие, скелет Мертвеца, мертвецы загрызают его.

Елена — Россия: Россия — жена; и — невеста; и — мать; он в раздоре с абстрактно живущею интеллигенцией; он указывает: организм органичен ее, когда он движется вместе с народом, в народе; интеллигенция без народа есть ветвь без корней; она стала сухою корягою; против нее поднимает он голос уже с 1908 года; и да: ощущает интеллигенцию Разумом, *манасом*[90] иль умом, соединившимся со стихиями, где стихии — народ; интеллигент есть Разумник[91] иль — *"Манас"*-ович: Чело Века.

Ее приближение к жизни — приятие *русской народной действительности, народной души;* нет ни суммы, ни мысли: приятие Существа (Grande Etre)[92], огласимого философской системой, где Герцен, Лавров, Михайловский[93] и Федоров пересекутся с Владимиром Соловьевым и с Шеллингом — в будущем: русская действительность — тело Ее, ныне нами ломимое; к Ней обращался и Гоголь: *"Какая же тайная сила влечет к Тебе!"* К Ней простирается жизнь А. А. Блока, припавшего к плачу о праведности русской женщины; тут, влюбляясь в глаза, может он восклицать: "не тебя я так пылко, так кротко люблю; Ту люблю я в тебе, что взирает из глаз твоих".

Лермонтов, Гоголь, Некрасов и Соловьев теперь цельно, по-новому пересекаются: и прорезывается воистину Русский.

Божья Матерь *"Утоли Моя Печали"*
Перед гробом шла светла, тиха,
А за гробом в траурной вуали
Шла невеста, провожая жениха.

Был он только литератор модный,
Только слов кощунственных творец,
Но мертвец — родной душе народной:
Всякий свято чтит она конец.
. . . .
Словно здесь, где пели и кадили,
Где и грусть не может быть тиха,
Убралась она *фатой из пыли**.
И ждала иного жениха[94].

Фата пыли не кажется маской; он ласково внемлет и пылью засыпанной жизни; и говорит с состраданием:

Не подходите к ней с вопросами,
Вам все равно, а ей — довольно:
Любовью, грязью иль колесами
Она раздавлена — все больно[95].

И — да: *"любовь — жалость"* есть мудрая жалость; змеиное жало его укусило; он — болен прекраснейшей жалостью; знает он — коли жалости нет в *"несказанной"* любви, то любовь подменяется противоположным: становится лишь в сердце вонзаемым *"каблуком"*.

Так вонзай же, мой *ангел вчерашний*
В сердце — острый французский каблук[96].

Высшие тайны без жалости деятся низшими кощунствами; кощунственность ведает сердце поэта; то — опыты, живущие в нем. Незнакомка — планетою, трупом, луной, мертвым солнцем отягощает сознание; и магией манит; *луна* должна выпасть из сердца, чтоб встретиться с нею, как с внешне представленным видением мертвеца, мертвым спутником жизни: противообразом Той, Прекрасной; и встречей с кощунственным противообразом подготовляется для поэта второе явление Стража Порога; в науке духовной эта встреча имеет название *встреча со Львом*[97].

Лев есть образ сердечный и женский; и испытуемый переживает: да, стены его обиталища — пали; в отверстие стен — входит *Лев;* надо выдержать это — *проклятие зверя* и ярость его: без испуга; бежать? Некуда! Зверя, грозящего съесть, надо силою приручить: превратить его в женщину, возвращаемую в сферу света.

В *"Нечаянной Радости"* — только признаки приближения *Льва:* ангелический образ Ее — подменен.

Люблю Тебя, Ангел-Хранитель, во мгле,
Во мгле, что со мною всегда на земле.
За то, что ты светлой невестой была,
За то, что ты тайну мою отняла.
. . . .
За то, что не можем согласно мы жить,
За то, что хочу и не смею убить.

---

* Курсив всюду мой.

. . . .
С тобою смотрел я тогда на зарю.
С тобой в эту черную бездну смотрю[98].

Да: подмена Хранителя ликом Губителя подготовляется медленно: умирает Хранитель ("покоишься в белом гробу"):

Золотистые пряди на лбу,
Золотой образок на груди.

Смерть — совершившийся факт: да, она лишь — "*картонной невестой* была", или трупом, еще продолжающим после смерти ужасную *упыриную* жизнь; труп по смерти своей наливаяся кровью плотнеет, встает (точно панночка в *"Вие"*); он есть восковая и страшная кукла, живущая за счет нашей жизни (оттуда — сюда) сладострастьем; *"Клеопатра"* — дальнейшее изменение подмененного Ангела; то — Незнакомка (покоишься в белом гробу):

Она лежит в гробу стеклянном,
И *не мертва, и не жива,*
А люди шепчут неустанно
О ней бесстыдные слова.

И она говорит:

— Кадите мне. Цветы рассыпьте.
Я в незапамятных веках
Была царицею в Египте.
Теперь — я воск. Я тлен. Я прах[99].

И вычерчивается: образ великой блудницы; поэт же к блуднице склоняется с жалостью; он понимает: теперь сквозь нее проступает лик Ведьмы, умершей, кощунственно овладевающей своим собственным трупом. Да: есть *"Незнакомка"* и есть *"незнакомки"*; последние — русские женщины, вполне одержимые Незнакомкою, чудовищно обуреваемой послесмертной истомою сладострастия. Та, страшная, действует *"суккубом"*[100] из незнакомок; образом *"страшной Музы"*; но то — испытание: *встреча со Львом.*

Тут же небо поэта меняется; да: небо первого тома — *лазурное, с розово-золотой* атмосферой зари; небо тома второго — есть серое небо с *лилово-зелеными* отсветами.

Небо третьего тома (эпохи второго порога) есть черное с брызжущей *желтою, желто-рыжей* зарею; *желтое с черным* иль *черное с золотом* в третьем томе глядит отовсюду —

— "В эти *желтые* дни меж домами мы встречаемся только на миг. Ты меня обжигаешь глазами и скрываешься в темный тупик". Или: "Сожжено и раздвинуто бледное небо, и на *желтой* заре — фонари". Или: "В *черных* сучьях дерев обнаженных *желтый* зимний закат за окном..." Или: "В *желтом* зимнем огромном закате..." и т.д. *Желтый* цвет с *черным* цветом везде сочетаются в *желто-черное*, или же в *золото-черное;* например —

— "Бледно *золото* твое!.. Вдруг замашет страстной болью *черным* крыльем воронье..." Или: "И только сбруя *золотая* всю *ночь* видна..." Или: "И утра первый луч звенящий сквозь *желтых* штор..." "Она" — *рыжая:*

Розы — страшен мне цвет этих роз,
Это — *рыжая* ночь твоих кос[101].

Или:

Но как ночною тьмой сквозит лазурь,
Так этот лик сквозит порой ужасным,
И золото кудрей — *червонно-красным,*
И голос — рокотом забытых бурь[102].

И глаза ее отливают тем цветом:

Глаз молчит *золотистый и карий,*
Горла тонкие ищут персты...
Подойди. Подползи. Я ударю —
И, как кошка, ощеришься ты[103].

Видение ощерившейся, большой кошки (иль Льва) выступает в *оранжевых* желтых тонах; эта кошка *порога* его соблазняет:

Знаю, выпил я кровь твою...
. . . .
Будет петь твоя кровь во мне[104].

Соблазняя, внушает: убийца, поверив на миг — содрогается:

Я стою среди пожарищ,
Обожженный языками
Преисподнего огня...[105]

Зовет в Ад:

Схожу, скользя, уступом скользких скал.
Знакомый Ад глядит в пустые очи[106].

Совсем обречен:

Склонясь над ней влюбленно и печально,
Вонзить свой перстень в белое плечо.

Любовь-бой — начинается (испытанием Льва):

В *желтом,* зимнем огромном закате,
Утонула (так пышно) постель...
Еще тесно дышать от объятий...
. . . .
Ты — смела! Так еще будь бесстрашней!
Я — не муж, не жених, не твой друг!
Так вонзай же, мой ангел вчерашний,
В сердце — острый французский каблук.[107]

Удар Льва — удар в сердце; *она* собирается — доконать: "И *меня, наконец, уничтожит твой разящий, твой взор, твой кинжал*"; над кругом "*ужасного*" мира встает словно лик его Музы:

Есть в напевах твоих сокровенных
Роковая о гибели весть.
Есть проклятье заветов священных,
Поругание счастия есть[108].

Вступает с Ней в бой:

Подойди. Подползи. Я ударю
И, как кошка, ощеришься ты[109].

Бой естественно превращается в обуздание женского лика:

И мне страшны, любовь моя,
Твои *сияющие очи.*[110]

Удивителен, и певуч, и прекрасен взор женщины; тут удивительные все слова о глазах и о взглядах —

— вот она обдает из очей *"молчаливым пожаром";* во взоре ее *"жгуче синий" простор;* глаза — *"страшная пропасть";* сверкает в них *"ужас"* старинный; глаза ее *"ищут добычу";* во взгляде же *"демон"; "когда ты сощуришь глаза, слышу, воет поток многопенный, из пустыни подходит гроза";* "твой *ядовитый* взгляд"; взор горит на щеке — до того, что боится, *"чтоб черный взор... проснувшись, камня не прожог"* (что же станет со щекой, на которой горит этот взор?); просветляется он, становится ярким: *"ослепительные очи", "источник сияющих глаз";* и глаза начинают *"смеяться"; "непостижимые"* эти глаза; *"твой быстрый взор... меня обжог и ослепил"; "звезды... глаз";* бьют поэта *"светящими"* взорами и т.д. К *свету* глаз прибавляется *звук* ее голоса; и — цыганка, *визжит,* щерясь кошкой: *"Монисто бренчало... цыганка... визжала заре о любви"; "дивный голос твой, низкий и странный, славит бурю цыганских страстей";* голос этот вливается в жесты; звучат ярким космосом жесты ее: *"песня плеч... до ужаса знакома";* ее *"одичалая прелесть"* становится *"как гитара,* как *бубен вдали";* ее голос уносится в *"отчизну скрипок запредельных".*

То — укрощение Льва; усмирение хаоса древнего ясной мелодией мира, восстание женского образа, вампиру подвластного, в жизнь души мира, в жизнь космоса; звучит песня сфер мировыми оркестрами; все — полно звуков —

— *"Дальних скрипок вопль туманный" "в вопле скрипок"; "танец в небесной черни звенит и плачет"; "где-то пели смычки о любви";* где-то *"песня зурны",* где-то *"стонет зурна";* в ушах — *"нездешний странный звон";* этот звон мелодически преображает и звуки будней; рожок автомобиля и он — *"поет";* винты аэроплана "поют, как струны"; дождик становится *"звуком стеклянным";* все наполняется музыкальными звуками, мягкими звуками

струн, а не *рогов*, как в *"Снежной маске"*: "Сдружусь со *скрипкою* невучей" "слушать *скрипок...* звуки"; "И воля дирижера по *арфам* ветер пронесла"; "отчизну *скрипок* запредельных"; "и *скрипки*, тая и слабея, сдаются бешенным смычкам"; "натянулись *гитарные* струны"; *"смычок запел"*; сердце поэта трогается *"нежной скрипкой"*; сама душа становится напряженной, *"как арфа"*; она становится лирой: "и *лира поет*"; эти звуки, звуки пресуществляемой страсти к женщине, пресуществляемой пресуществлением, эти звуки становятся уж не страшными, а родными и неземными: голосом Дуппи:—

— "чтобы звуки, чуть тревожа легкой музыкой земли, прозвучали, потомили, и в *иное увлекли*"; *"иное"* — любовь к просветляемой женщине, восстающей из гроба; здесь уши становятся полными *"странным звоном"*: *"услышит полет... планет"*; и *в полете уж* явственно: *"арфы спели: улетим"* из мира страсти: *"Звенело, гасло, уходило и отделялось от земли"*.

В этом плачущем, струнном и мелодично расширенном мире души разрывается морок, объявший женщину; суккуб бросает ее; одержимая женщина пробуждается Карменситою:

Как океан меняет цвет,
Когда в нагроможденной туче
Вдруг полыхнет минувший свет,
Так сердце над грозой певучей
Меняет строй, боясь вздохнуть,
И кровь бросается в ланиты,
И слезы счастья душат грудь
Перед явленьем Карменситы[111].

С ней:

Летим, летим над грозной бездной.

И тогда:

Тем лучезарнее, тем зримей
Сияние Ее лица[112].

Так сама она отнимает прочь испытания: и является душой народа, которой остался поэт в страстях личных своих всегда верен.

Грешить бесстыдно, непробудно,
Счет потерять ночам и дням[113] и т. д.

Следует перечисление грехов русской жизни, которые рассеяны по ряду стихотворений: вплоть до "Двенадцати". Вот грехи:

Эх, эх попляши!
Больно ножки хороши!..
В кружевном белье ходила —
Походи-ка, походи!
С офицерами блудила —
Поблуди-ка, поблуди!
. . . .

Гетры серые носила,
Шоколад Миньон жрала,
С юнкерьем гулять ходила —
С солдатьем теперь пошла?

Эх, эх, согреши!
Будет легче для души.

Увидал он страданья русской души в душе "Катьки", которую любил огромной любовью и мудрым сознаньем знает: над гробом, в который насильственно заколочена Катька, стоит Божья Матерь; в поклоне святыне (святыне Катьки), поэт перекинулся с Гёте, изображающим "Синюю тайну" Мадонны[114], стоящей среди грешниц: Марии Египетской[115], Магдалины и Гретхен, всех трех разрешает Она от греха. Гретхен девушка, или — невеста, которая в первоначальной поэзии Блока цвела; и потом подурнела ("Ночная Фиалка") теперь умерла:

Она веселой невестой была.
Но смерть пришла: она — умерла.

Гретхен его есть душа, о которой сказал:

Любовью, грязью, иль колесами
Она раздавлена — все больно[116].

Оправдывает многолюбивое сердце поэта ее. Грешница же вторая есть Магдалина, со страусовым пером, "Незнакомка", цыганка с бокалом Аи, или Катька; и Магдалину любовью оправдывает сердце поэта.

Великая грешница есть Мария Египетская: Египтянка, иль Клеопатра, опасная сладострастием магии, встающая от одра и грозящая в сердце вонзить острие каблука: это — Лев.

Говорит же и ей всепрощающе сердце:

Да, и такой, моя Россия,
Ты всех краев дороже мне[117].

Он — узнал: "Клеопатра" с ума давно сошедшая Катька, вообразившая Клеопатрой себя; она, бывшая верной женой Катериной (женою Данилы), — отображенье России; но страшный колдун, вызвавший чарами душу ее, переместил эту душу в воск мумии; а поэт отходил ее; Катерина (или бывшая Катька) проснулась; за ней в ее ад, как Орфей, нисходил посвященный в тайну поэт; извлекая из тьмы ее, подвергал себя стрелам невидимых глаз:

Тем и страшен невидимый взгляд,
Что его невозможно поймать;
Чуешь ты, но не можешь понять,
Чьи глаза за тобою следят[118].

Ощущение мстительных и невидимых глаз, вероятно, приблизило Стриндберга к Блоку; и ощущение это господствовало в пору встречи последней моей с А. А. (в 1912 г.).

"Глазами" или "глазом" Клингзора[119] испорчена Катерина до Катьки, до... Клеопатры; поэт — любит сглаженную; в ней ответ России:

Да, и такой, моя Россия,
Ты всех краев дороже мне!

Или:

Тебя жалеть я не умею,
И крест свой бережно несу...
Какому хочешь чародею
Отдай разбойную красу!
Пускай заманит и обманет, —
Не пропадешь, не сгинешь ты.
И лишь забота затуманит
Твои прекрасные черты.
Ну что ж? одной заботой боле —
Одной слезой река шумней,
А ты все та же — лес и поле,
Да плат узорный до бровей[120].

Отчитывает бесноватую он: дух злобы слетает с нее; "Лев" приручен; он — только женщина, только жена, "Катерина".

Das Unbeschreibliche
Hier ist getan!
. . . .
И невозможное возможно,
Дорога легкая легка,
Когда блеснет в дали дорожной
Мгновенный взор из-под платка.
— Когда звучит тоской острожной
Глухая песня ямщика.

Возможно — да, да! — невозможное, когда всю свою душу отдашь в волю жизни народа, и душу народа полюбишь в душе "Катерины" — любовью небесной: когда и виноватой, и грешной, поклоняешься в ноги (не ей, а святыне, в нее заключенной), когда на лице восковом Клеопатры увидишь не смерть, — летаргический сон живой девушки.

Ты покоишься в белом гробу.
. . . .
Золотистые пряди на лбу,
Золотой образок на груди.

Образ Богородицы "Утоли моя Печали" или, может быть, — образок "Умиления" (Понетаевской Божией Матери)[121].

Эта прядь такая золотая,
Разве не от прежнего она? —
Страстная, безбожная, пустая,
Незабвенная, прости меня[122].

И она просыпается; и она — только русская женщина: скажет... Вернись ко мне...

И поймет, что в поклоне греху ее — действует Сын человеческий:

И пусть другой тебя ласкает,
Пусть множит дикую молву:
Сын Человеческий не знает,
Где преклонить свою главу[123].

Пусть душа преклоняется к... стойке:

Душа моя, душа хмельная, —
Пьяным пьяна, пьяным пьяна[124].

Уничижением до "стойки" Орфей земли русской находит дорогу к сердцам обреченных и павших.

Так силой невидимой приручается "Лев" и все павшие поднимаются к жизни:

Обнимет рукой, оплетет косой,
И статная скажет: — здравствуй, князь![125]

Свершится

О, нищая моя страна,
Что ты для сердца значишь?

О, бедная моя жена,
О чем ты горько плачешь[126].

Слезы же — светлые.

Силой необъяснимою, до которой еще не возвышался поэт, зазвучали слова о России его: он же Русский; Разумный; в нем русское Чело-Века; и да: за поэзией троек, за странными звуками песен иная, нездешняя сила звучит:

Чтобы звуки чуть тревожа легкой музыкой земли,
Прозвучали, потонули, и в иное увлекли[127].

Слышится Интеллигент (с большой буквы), имеющий право свидетельствовать об интеллигенции; в голосе его о России теперь — звуки голоса Посвященного; и Посвященный сквозь муки падения, ужасы личной жизни гласит; вся трагедия в том, что в себе не познал посвятительных звуков и третьего испытания не вынес поэтому: оно стало — смертью его.

Сила строк его не — "цыганщина" вовсе.

Стихотворение: к нему эпиграф романса: "Не уходи. Побудь со мною. Я так давно тебя люблю. Тебя я лаской огневою и обожгу и утомлю". Как разыгрывается в нем лейтмотив этих слов? А вот как:

Я огражу тебя оградой,
Кольцом живым, кольцом из рук[128].

Что же следует далее?

Подруга, на внезапном пире,
Помедли здесь, побудь со мной.
Забудь, забудь о страшном мире,
Вздохни небесной глубиной.

Глубиною небесной отчитывает цыганку поэт; и в цыганщине освобождает он связанное огневое начало любви, которое — Неопалимая Купина; нет, недаром Мария Египетская — искупляема.

Тайна неведомого приобщения к небу совершается в миг, когда в пошленьком, переполненном ресторане увидел ее он — Марию Египетскую:

Я сидел у окошка в переполненном зале.
Где-то пели смычки о любви.
Я послал тебе черную розу в бокале
Золотого как небо Аи...
И сейчас же в ответ что-то грянули струны,
Исступленно запели смычки...
Но была ты со мной всем презрением юным
Чуть заметным дрожаньем руки.
. . . .
Но из глуби зеркал ты мне взоры бросала.
И бросая, кричала: — лови!
А монисто бренчало, цыганка плясала,
И визжала заре о любви[129].

Прочитывали ли мы стихотворение правильно? Поэт посылает цветок ей; она отвечает презрительно: "Этот — влюблен". В другом плане (в зеркальном) из глуби зеркал откликается тайна, ей не видная, на священные тайны влюбленности, словами цыганских романсов ("Не уходи. Побудь со мною. Я так давно тебя люблю".) Но в поэте они откликаются словом:

Забудь, забудь о страшном мире:
Вздохни небесной глубиной.

Глубь зеркал — глубь небесная подсознанья женского, чующего перед собою его:

Мой любимый, мой князь, мой жених!..

В облике посетителя ресторана она увидала протягивающего ей, грешнице, руку — Его:

Подруга, на вечернем пире,
Помедли здесь, побудь со мной.

Стихотворение об *"Аи"* после смерти поэта прочитано было с амвона священником, силою сана удостоверившего *святыню "цыганщины"* Блока. Воистину: сила *"цыганщины"* этой священной и чистой любви. Этой

силой любви и пронизаны строки стихов о России, которую видит он полоненную чарами женщиной русской; а в русской женщине (во многих) он силой любви переживает любовь к Той, одной Душе Русской:

Россия, нищая Россия
Мне избы серые твои,
Твои мне песни ветровые, —
Как слезы первые любви[130].

Или:

Человеческая глупость
Безысходна, величава,
Бесконечна... Что ж, конец?[131]

Так спрашивает душа его в *"страшном мире"* страстей.
И — ответ:

Нет... еще леса, поляны,
И прогулки по шоссе,
Наша русская дорога,
Наши русские туманы,
Наши шелесты в овсе.

И Россия:

Это — легкий образ рая,
Это — милая твоя.

Милая третьего тома: страдающий, униженный до Катьки и оскорбляемый лик — лик России.

Единственный же соперник, с которым готов скрестить меч, — это Враг, унижающий Душу Народа. К нему и подводит сознание; с Ним не может не встретиться; видит мученье любимой России; и видит, что тайные чары, разлитые в атмосфере Ее, искажают красу Ее — в красу *"дико разбойную"*, потому что она подвергается нападению, действующему извне, как нашествие *моря народов* (востока); и — изнутри как влияние гипноза; *злой глаз* Ее глазит:

В собрании каждом людей
Эти тайные сыщики есть[132].

"Они" — в подсознании; и оттого-то у русских —

Развязаны дикие страсти
Под игом ущербной луны[133].

Оттого и, —

Вздымаются светлые мысли
В растерзанном сердце моем,
И падают светлые мысли,
Сожженные темным огнем...

Иго темных огней искажает лик Руси, которая — *сонное марево,* где —

Чудь начудила, да Меря намерила
Гатей, дорог да столбов верстовых[134].

Но в тумане уже проступили "глаза": и о них говорит —

И глазами добычу найти
И за ней незаметно следить.

За глазами вычерчивается самый лик Мстителя: это — монгол; Александр Иванович (действующее лицо моего *"Петербурга"*) в бреду созерцает его на куске темно-желтых обой:

За море Черное, за море Белое,
В черные ночи и в белые дни
Дико глядится лицо онемелое;
Очи татарские мечут огни.

Угрозу России В. С. Соловьев видел в монгольском востоке[135]; *"панмонголизм"* — символ тьмы, азиатчины, внутренне заливающей сознание наше; но тьма есть и в западе; и она-то вот губит сенатора Аблеухова в *"Петербурге"*; она же губит сына сенатора, старающегося при помощи Канта, *реакционера* в познании, обосновать социальную *революцию* без всякого Духа; *татарские очи* у Блока суть символы самодержавия, или востока; и символы социалодержавия, запада; здесь, как и там, одинаково *"очи татарские"* угрожают России.

Поэт волит битвы, общественной битвы с Врагом; и осознанием в себе воина приближается к тьме он *третьего испытания порогом.* В духовной науке та встреча имеет название: *встреча с Драконом*[136].

Любовь к просто женщине русской возвышена в нем до влюбленности в лик единой России, как Женщины. Его, Дон-Жуана, любовь превращает в сурового воина; битва — общественность; так *"общественник"* в нем — порождение углубленного индивидуализма, в котором всегда индивидуум — организованный коллектив; индивидуальность, корней не пустившая в коллектив — субъективна всегда; субъективизм побежден ныне в Блоке; он — рупор огромного слоя сознаний; и изживанья его суть теперь настоящие символы нашей общественности (в глубочайшем значении слова).

И a priori можно предвидеть, что бой за Россию он примет на поле общественности (так оно оказалось впоследствии); Враг обнаружится — здесь; он доселе таился, скрываясь за Кундри; и вот предстоит — бой с Клингзором[137].

Еще в 1908 году, в пору подхода ко второму порогу, бросал уже вызовы *"Куликовским Полем"*, где налагается на него доспех воина; было же это в тяжелое время; *стихию России ближайших лет первый пророчески видит он, провозглашая, что̀ бой приближается.*

Не может сердце жить покоем,
Недаром тучи собрались.
Доспех тяжел, как перед боем.
Теперь твой час настал. — Молись![138]

— Что? О чем этот бред? — так могли бы воскликнуть все, погруженные в *"злобу журнального дня"*, — и неслышащие подлинной злобы: *огромного гула грозы:*

За тишиною непробудной
За разливающейся мглой
Не слышно грома битвы чудной,
Не видно молньи боевой.
Но узнаю тебя, начало
Высоких и мятежных дней.

Дикие орды монгольские — чуются:

Я слушаю рокоты сечи
И трубные крики татар,
Я вижу над Русью далече
Широкий и тихий пожар.

Нота близкой катастрофы и в ней нота востока *(монголов, татар)* переживались и мною: в те именно месяцы — и писал *"Петербург"*; повторяются там темы Блока; в те месяцы я написал: *"Великое будет волнение; рассечется земля; самые горы обрушатся от великого труса; а родные равнины от труса изойдут повсюду горбом. На горбах окажется Нижний, Владимир и Углич, Петербург же опустится"**. И далее: *"Бросятся с мест своих в эти дни все народы земные; брань великая будет, — брань небывалая в мере... Будет, будет — Цусима! Будет — новая Калка!.. Куликово Поле, я жду тебя!"* И еще: *"Если, Солнце, ты не взойдешь, то, о, Солнце, под монгольской, тяжелой пятою опустятся европейские берега, и над этими берегами закурчавится пена"*...** И еще: *"Все прочее соберется к исходу двенадцатого; только в тринадцатом году... Да что! Одно пророчество есть: вонмем-де... на нас-де клинок"*... (Слова Степки*** Ошибся я: не к исходу тринадцатого, а к исходу четырнадцатого — *все началось...* Тема лихого *"Монгола"* проходит по воздуху; и Аполлон Аполлонович, Николай Аполлонович — *монгольского рода; "монгол"*, одержащий Н. А. Аблеухова *("развязаны дикие страсти под игом ущербной луны")*, появляется перед ним в бредовом сновидении; и он сознает, что *"монгол"* — его кровь; ощущает туранца в себе, ощущает арийство свое оболочкою, домино; так *"кровавое домино"* (революция) есть покров, под которым таится туранец (восток, иль — реакция): *"Так старинный туранец, одетый на время в арийское домино; быстро бросился к кипе тетрадок: ... тетрадки сложились в громадное дело: ... сплошное монгольское дело сквозило*

* "Петербург", глава вторая.
** Idem.
*** Idem.

*в записках"**, *"в испорченной крови был должен вскормиться Дракон: и жрать пламенем все"*... Аблеуховы ощущают *"монгола"* — в себе; Александр Иванович Дудкин его ощущает — во вне, на обоях (галлюцинацией, преследующей его): *"Химера росла — по ночам: на куске темно-желтых обой — настоящим монголом"***. *"Монгол"* воплощается для него в негодяя Липпанченко: "Извините, Липпанченко: вы не монгол?" — спрашивает он Липпанченко; возвращаясь домой, на Сенатской площади слышит он *"оглушающий нечеловеческий рев! Проблиставши рефлектором, несся, пыхтя керосином, автомобиль;.. и — желтые, монгольские рожи прорезали площадь"****. Топоты конские раздаются уже над ночным Петербургом: *"Пал Порт-Артур; желтолицыми наводняется край; пробудились сказания о всадниках Чингис-Хана... Послушай, прислушайся: топоты... из уральских степей. Это — всадники"*. Николай Аполлонович бросается к посетившему его туранцу; и поднимается между ними совсем бредовый разговор: *"Кант (и Кант был туранец)". — "Ценность, как метафизическое ничто!" — "Социальные отношения, построенные на ценности" — "Разрушение арийского мира системою ценностей". — "Заключение: монгольское дело". Туранец ответил: "Задача не понята: параграф первый — Проспект". — "Вместо ценности — нумерация: по домам, этажам и по комнатам на вековечные времена". "Вместо нового строя зарегистрированная циркуляция граждан Проспекта". — "Не разрушенье Европы — ее неизменность". — "Монгольское дело..."*

Руководившая нота *татарства, монгольства* в моем *"Петербурге"* — подмена духовной и творческой революции, которая не революция, а вложение в человечество нового импульса, — темной реакцией, нумерацией, механизацией; социальная революция *("красное домино")* превращается в бунт реакции, если духовного сдвига сознания нет, в результате же — статика нумерованного Проспекта на вековечные времена в социальном сознании; и — развязывание *"диких страстей"* в индивидуальном сознании.

Развязаны дикие страсти
Под игом ущербной луны[139].

Потому что слышны —

— рокоты сечи
И трубные крики татар —
— в нас !

В ресторанчике во время нашего разговора мы это поняли с Блоком; у нас был особый жаргон говорить о *"монгольстве"*, которое было символом угрожающего Дракона.

А. А. осознает себя воином светлой Жены, Которой даны в Апокалипсисе два орлиных крыла (крыла разума), чтобы летела она от Дракона[140]; отображение Светлой Жены есть Россия для Блока.

---

* Глава 5-ая
** Глава 6-ая.
*** Глава 2-ая.

О, Русь моя! Жена моя! До боли
Нам ясен долгий путь!
Наш путь — стрелой *татарской, дикой* воли
Пронзил нам грудь.
Наш путь — степной, наш путь в тоске безбрежной,
В твоей тоске, о Русь!
И даже мглы — ночной и зарубежной —
Я не боюсь...
. . . .
И вечный бой! Покой нам только снится
Сквозь кровь и пыль.
Летит, летит степная кобылица
И мнет ковыль.

Предчувствие: и восстание будущих "скифов", и обнажение *"меча"*, величайшей ответственности, — пред Россиею; и — за Россию; меч был обнажен; это — *"скифы"*, которые в десятилетиях будут загадкой еще разгадываться; *"скифов"* он призывает на бой: за Россию и мир; есть у них знамя светлое; они же — не варвары:

В степном дыму блеснет *святое знамя*
И ханской сабли сталь.

Лик, отражающийся в щите воина — Лик Богоматери:

И в тумане над Непрядвой спящей,
Прямо на меня
Ты сошла, в одежде свет струящей,
Не спугнув коня.
. . . .
И когда на утро тучей черной
Тронулась орда,
Был в щите Твой лик нерукотворный
Светел навсегда.

Тайна сошествия Лика в щите — тайна, пока непонятная тем, для кого наше русское *"скифство"*[141] (не до конца понимаемое и русскими "скифами") литературное баловство иль (horribile dietu)[142] какое-нибудь политическое, иль партийное устремление (смешивали *"скифов"* с лево-эсерами !).

Меч им не выкован; через искусство А. А. заглянул за искусство; и за искусством увидел он жизнь свою, спаянную *кармой* с судьбой современников; в переживаниях биографической жизни своей изживал он трагедию целой России; в нем были узнания, до которых доходят лишь на духовных путях, когда предстают те узнания пред путем жизни духа, как страшные испытания пути, для которых естественно вооружение всем осознанным опытом жизни в духе, — осознанным не до конца А. А.; знания — были; и — осознания *знаний*, в отдельности взятых; осознания в самосознании — не было; не было потребности к точному знанию, которое становится ненасытимою жаждою; и отсюда-то: раздвоенье сознанья, необходимое до известных пределов, — переходило границы; из созерцательного становилось оно раздвоенным в *по-*

ступках; переход к *акту жизненному*, вытекающему из духовного знания, и ответственен, и опасен: прыжок через пропасть он.

Два прыжка — удались; два порога по-своему были осознаны им (не отчетливо, правда); и — вот: в неотчетливом преступлении порогов обычного состояния сознания заложены и причины тумана сознания перед третьим видением *порога,* к которому он подступил преждевременно, не проработавши до конца свою личную жизнь; он вперился глазами в ужасного Вия, как — Хома Брут: не опустил своих глаз; и *Вий* — увидал его: *"Вот он"*. Толпы чудовищ обстали А. А. Он не справился с ними.

Двойники

Дракон нападает теперь на А. А. со всех точек зрения; нападает со всех он миров и сторон: нападает — с духовного плана, с душевного плана, с физического[143]; появляется перед ним он во внутреннем мире; идет на него в мире внешнем: от Запада — на Восток; от Востока — на Запад; он в мире духовном — Дракон; он же в мире душевном есть Демон; в физическом мире он — низшее сознание Блока, отказывающееся от жизни:

Так падай перевязь цветная!
Хлынь кровь и обагри снега...[144]

То, конечно же, — Арлекин тома первого (с глазами совы), который *"сбежал с горы и замер в чаще"* болот, городов, там слоняется по ресторанам он *черным человеком,* плачущим на заре, *когда "хмурое небо низко закрыло и самый храм";* это он о себе заявляет, что — *"пригвожден к трактирной стойке"*, встает же он в образах внешней общественности, в образах государственного механизма, где действует лишь *"стальной интеграл"* или мертвое — упокоение *монголо-китайской реакции;* с Запада на Восток угрожает он образом страшного *"Сэра"* и *"Командора";* с Востока на Запад грозится грядущими Гуннами: жечь города *"и мясо братьев жарить";* отовсюду вздымается ужас Драконова испытания; *Лев*, женский образ, есть Люцифер (черт душевного мира); Дракон — черт духовного мира, иль — Ариман. Взметается — страшная туча: Дракон, Демон, Самоубийца, Пьяница, Арлекин, Интеграл, Монгол, Сэр — все, все обступают поэта; справиться с бесовскою *силой* — отдать свою волю, свой голос и в волю, и в голос сознания: "Да воскреснет Бог!" На *максимум смерти* — ответить последним максимализмом. Сказать себе: *"В это смертное время — хочу жить; и — буду; сознаю, моя жизнь есть жизнь не моя, а пославшего меня в жизнь"*. Лишь Христово *Пришествие* в "Я" облекает Мечом; и Жена в этот миг отступает перед силой Дракона; и "Я" есть не "Я" (не я, а Христос во мне), в озеро огненное оно сражает Дракона; тут в первый раз в жизни А. Блок проявляет "минимализм"; отступает он в тему поэмы "Возмездия", в силы жизни не верит; так телом его овладевает Дракон.

Тема третьего испытания подготовлена всею жизнью поэта; сначала звучит заглушенно она под покровом тоски и уныния; демон уныния есть сперва — аллегория; потом — символ; и наконец — воплощение.

Враг — воплощен.

Появление обусловлено поступками 1902 года: "сбежал с горы и замер в чаще"; бегство себя самого от себя самого: разделение сознания, в результате которого тот, от "которого" другой бежал, — начинает заглядывать (тот — этому) в лицо белым призраком:

И опрокинувшись заглянет
Мой белый призрак им в лицо.

Белый призрак есть неудавшееся посвящение в рыцари "Иоаннова Храма" ("Я их хранил в пределе Иоанна"); не посвященный в жизнь горнюю есть "печальный демон — дух изгнанья"; другой же есть тот, кто сказал:

Мое болото их затянет;
Сомкнется мутное кольцо.

Мутное же кольцо — кольцо низменной жизни; создание "белого призрака" с осени 1902 года вместо Нее в мирах видит "Прекрасную Даму"; другой, ставши "черненьким человеком", видит даму уже вовсе с маленькой буквы ("она стройна и высока"), подстерегая ее и подглядывая за ней из подъездов; так идущее к посвящению этим бегством, с горы — разорвано надвое: Люцифер, Ариман, подхватывая части душевного "я", их — растаскивают; а духовное "Я" ("Я" большое), которому должно их воссоединить, есть далекая несошедшая точка звезды пока, долженствующая где-то еще стать солнцем Дамасского Света[145]; поэт ощущает два "я", иль — два зрения Ее — двумя "Я": перемешивает ее сферы ("Ты — здесь: ты — близко...тебя здесь нет: ты — там"); появляется "Я" и "я", "Дама" и "дама"; одно "я" — люциферизовано; другое — ариманизовано. Оба — пригвождены: одно — к кругу кантианского мышления ("как верный знак, что мы внутри неразмыкаемого круга"); другое — к трактирной стойке ("я пригвожден к трактирной стойке"); на расщепах душевных двух "я" распято невоскресшее духовное "Я" поэта.

"Я", Ich, рассекаемо мечом света ("Я — Меч и разделение"), который и есть Свет Дамаска; "Не я, а Христос во мне"; "Я" поэта вплотную не приближается к тому "Свету", к свету — Его; в третьем томе поэт говорит о себе:

Да. Ты — родная Галилея.
Мне, невоскресшему Христу[146].

Пока в "Я" не воскреснет Христос, — неотвратимы опасности третьего испытания: даже "Она" в Апокалипсисе улетит от Дракона: Дракон побеждается — "Им": Семя жены (не сама Она) сотрет главу Змея.

В испытаниях смертью "Я", "Ich" распадается в "I" и "ch"; Александр, например, здесь становится и "Iochann""ом и "Christian""ом; они — двойники;

лишь Дамасский Свет высекает в распаде "Ich" на "I" и "ch" символ "I.ch": Iesus Christus.

Духовное "Я" у поэта — еще невоскресший Христос; части "Я", похищенные Люцифером и Ариманом — обложены явно пределами: неразмыкаемым кругом рассудка; и — чувственным "мутным кольцом"; в "неразмыкаемом круге" — Прекрасная Дама становится отвлеченной премудростью; в кольце она есть — *земля сыра;* в точке ж духовного "Я", создающей разрывы "я" малого, она пока — точка, звезда: при попытке приблизиться к ней, звезда — падает; остается пустая лишь скобка иль маска Ее: Незнакомка; под этою медиумической маскою могут вить гнезда и совы, и голуби; чаще — здесь совы.

На всех произведеньях А. А. можно видеть, каким из двух "Я" продиктованы произведения эти: так, например, "Крушение гуманизма" диктуется люциферическим "Я", созерцающим с высоты ариманическое кипение духа музыки; рассуждения же о русской интеллигенции последнего времени писаны ариманическим "я" (бездонной стихийностью, плещущей в природу интеллигентского мира).

Разрыв нераздельного "Я" еще с 1902 года подготовляет А. А. и последнюю встречу с порогом.

Проследим же пока судьбы этих двух "я" души Блока.

"Белый призрак", заглядывающий в лицо, как двойник, сопровождается в мире мысли поэта и грустью, и скепсисом, т.е. знаком того, что внутри неразмыкаемого круга явлений мы; откровение мысли скепсисом превращается лишь в простое воплощение чувств; а "встреча" становится тут — отошедшей сказкой; до этого обращается к лучшим друзьям, говорит:

Молча свяжем вместе руки, —
Отлетим в лазурь.

Теперь те друзья — короли, потерявшие в дреме короны; они пребывают у девушки, подурневшей ("королевы забытой страны"); и ни он не узнал их, и ни они не узнали его.

Ибо что же приятней на свете,
Чем утрата лучших друзей.

Не узнал и того он, кто молча сидел рядом с ним и пил *"мутное пиво":* себя самого, иль другую свою половину, которая в королевне увидела — дочку трактирщицы; эта другая его половина блуждает по улицам города; и — повторяет она с остряками:

"In vino veritas!"

И — пригвождается к стойке; и — поет на заре:

Ах, какой бледный город на заре,
Черный человек плачет на заре...[147]

Люциферическое, одинокое "я" не увидело униженного, оскорбляемого им бродяги — бродяги, самим собой оскорбленного.

Ибо что же приятней на свете,
Чем утрата лучших друзей.

Что друг это — "Я", это ясно, но его не видит плененная Люцифером другая его половина, то "я" унижая в себе; и униженный быстро наглеет перед люциферическим "денди":

Однажды в октябрьском тумане
Я брел, вспоминая напев...
. . . .
И стала мне молодость сниться,
И ты, как живая, и ты ...
И стал я мечтой уноситься
От ветра, дождя и мечты...
Вдруг вижу, — из низи туманной,
Шатаясь, подходит ко мне
Стареющий юноша (странно,
Не снится ли он мне во сне?)
Выходит из ночи туманной
И прямо подходит ко мне.
И шепчет: "Устал я шататься,
Промозглым туманом дышать,
В чужих зеркалах отражаться
И женщин чужих целовать..."
. . . .
Вдруг он улыбнулся нахально, —
И нет близ меня никого[148].

Два "я" тут проходят — один пред другим: уединенный мечтатель; и — ресторанный гуляка; Люцифер — ведет первого; и второго ведет — Ариман; и уводятся оба, столкнувшись, — в противоположные стороны; "я", уводимое Люцифером, — догадывается:

Быть может, себя самого
Я встретил на глади зеркальной.

Оно — белый призрак, мечтатель, брезгливый пред миром явлений (не он бежал в чащу) — вздыхает о прошлом:

И стал я мечтой уноситься
От ветра, дождя, темноты.

Куда? В мир Прекрасной?..

О, мир непродажных лобзаний!
О, ласки некупленных дев!

В ресторане, когда *"визг напева"* его окружил, видит в деве со страусовым пером он евангельскую Магдалину; за вьюгой видит страну, "опаленную

солнцем юга". Двойник же его, Ариман, плененный, с *глазами совиными*, — в эту минуту несется к Елагину мосту — с той самой *"девою"*:

Я чту обряд: легко заправить
Медвежью полость на лету,
И, тонкий стан обняв, лукавить
И мчаться в снег и темноту.

И помнить узкие ботинки,
Влюбляясь в хладные меха...
Ведь грудь моя на поединке
Не встретит шпаги жениха...

Здесь все ясно и просто?

Один созерцает за вьюгою — Палестины; другой — заявляет:

Все только — продолженье бала,
Из света в сумрак переход.

Переход к обыденному есть вторая натура второго "Я". И одно "Я" вздыхает:

О, ласки некупленных дев!

А другое "Я" ищет тех купленных ласк:

Нет, я не первую ласкаю...

И уж знаешь наверное всю последовательность фаз этой ночи: летенье на тройке — к Елагину острову; и — *"кабинет"*:

Венгерский танец в небесной черни
Звенит и плачет, дразня меня.[149]

Потом:

Испугом схвачена, влекома
В водоворот...[150]

И — *"комната"*: —

Красный штоф полинялых диванов,
Пропыленные кисти портьер...

Вплоть до — раскаянья:

Разве дом этот — *дом* в самом деле?
Разве так суждено меж людей?

Раскаянье в ариманическом "я" оттого, что была-таки встреча с другим, с *лучшим другом*, потерянным некогда, — на улице, там, где прохожий,

надменно тоскующий денди, увидел *"стареющего юношу, который улыбнулся нахально"*; в это время, *"стареющий юноша с пошло-нахальной улыбкою"* не видел прохожего, а ощутил смутный трепет лишь:

Только крыл раздался трепет,
Кто-то мимо в небо канул,
Как разгневанная тень...[151]

И — прошли двойники, не узнавши друг друга: один проходил — в свои *синие сферы мечты с Люцифером;* другого повел Ариман — в погребок: уже в три часа ночи:

Я пригвожден к трактирной стойке.
Я пьян давно. Мне все равно.
Вон счастие мое на тройке
В сребристый дым унесено...
. . . .
И только сбруя золотая
Всю ночь видна... Всю ночь слышна...
А ты, душа... душа глухая...
Пьяным пьяна... пьяным пьяна...

И — вскрик отчаянья:

Забыться бы в свежем бурьяне,
Забыться бы сном навсегда!..[152]

В минуту такую жутка эта новая встреча с "Я": вовсе не денди на улице, а — Крылатый: и с неба Он прянул *("только крыл раздался трепет");* и — тук: в его пьяную комнату, в *"мутное кольцо"* жизни:

Зачем за дверью свет погас?
        Не бойся!
Я твой давно забытый час,
        Стучусь — откройся.
. . . .
Зачем склонился ты лицом
        Так низко?
Утешься: ветер за окном,
        То трубы смерти близкой!..[153]

Сквозь опьянение чувствует душа холоды чуждого мира: то мир — двойника:

Не сходим ли с ума мы в смене пестрой
Придуманных причин, пространств, времен?[154]

Не открывает ослепшее "я" ту закрытую дверь; и на возглас *забытого часа* (забытого "я") — отвечает сугубым развратом:

Так вонзай же, мой ангел вчерашний,
В сердце острый французский каблук!
. . . .
Все на свете, все на свете знают:
Счастья нет.
И который раз в руках сжимают
Пистолет!
И в который раз, смеясь и плача,
Вновь живут!
День, как день; ведь решена задача:
Все умрут.[155]

Униженное "Я" в аримановом плене себя утешает.
Но — чудится: —

Мой грозный Мститель...
Лик его был гневно-светел
В этой ночи на скале[156].

Та скала есть *"гора"*, от которой бежало в болото совиное "Я", на которой когда-то оно повторяло: "Я *озарен: я жду Твоих шагов*!" и болота теперь — рябь канала.

Ночь, ледяная рябь канала,
Аптека, улица, фонарь.[157]
. . . .
А перед шкафом с надписью "Venena",
Хозяйственно согнув скрипучие колена,
Скелет, до глаз закутанный плащом,
Чего-то ищет, скалясь черным ртом...[158]

Но скелет *Ариман*, заведший оторванную часть сознанья с горы (сквозь сияния ресторанного зала, сквозь *"штоф полинялых диванов"*, сквозь одурь *трактирную*, сквозь канал) к преисподней, к аптеке и к шкафу с "Venena"; пред шкафом с "Venena" открылся лик подлинный Спутника: то — Скелет, или Великий Мертвец; от него кидается "Я" — к позабытому *лучшему другу*, к "Я" Горнему, к рыцарю, с гор не сбегавшему: и — начинаются воспоминания — о *"потухшей"* горе:

Было то в темных Карпатах,
Было в Богемии дальней...
Впрочем, прости... мне немного
Жутко и холодно стало...[159]

Карпаты — *"горы"*; на горе — ждет оставленный рыцарь: но почему *"мне немного жутко и холодно стало"*? Да потому, что стоящий там рыцарь твердит:

Недостойный раб, сокровищ
Был *"ты"* царь и страж случайный.
. . . .

И покинув стражу, к ночи
"Ты" пошел во вражий стан.
. . . .
Падший ангел, был "ты"* встречен
В стане их, как юный бог...[160]

Рыцарь с Карпат — повествует о гибели падшего, дошедшего до аптекаря "Я": "Страшно, страшно"... и "я" закрывается в ужасе далекого голоса прошлого (ждущего ... в будущем!):

Но не спал мой грозный Мститель.
Лик его был гневно-светел
В этой ночи на скале.

Вот что подлинно совершается: —

... в темных Карпатах,
... в Богемии далекой...

Повторяется *"Страшная Месть":* тот же рыцарь, — стоит, ожидает к себе возвращенья убежавшего в чащи, того, кто предательски —

... пошел во вражий стан.
. . . .
Это — я помню не ясно,
Это — отрывок случайный,
Это — из жизни *другой* мне
Жалобный ветер напел[161].

А с другой стороны, где аптекарь (мертвец) поджидает, оттуда —

Говорит Смерть:
Когда осилила тревога
И он в тоске обезумел,
Он разучился славить Бога
И песни грешные запел
. . . .
Он больше ни во что не верит,
Себя лишь хочет обмануть,
А сам — к моей блаженной двери
Отыскивает вяло путь.
С него довольно славить Бога —
Уж он не голос, только — стон.
Я отворю. Пускай немного
Еще помучается он.[162]

Узнается мертвец из глубокой пропасти подкарпатской, которого грызут мертвецы и к которому сбросится грешное тело:

Было то в темных Карпатах...

* В тексте у Блока тут всюду вместо "ты" стоит "Я".

И вот, что действительно значит: —

...Постигать
В обрывках слов
Туманный ход
Иных миров[163].

И слышится голос: *"колдун, завершающий проклятый род: жду тебя!"* Бежать некуда: бегство в сторону бездны: к аптекарю, где

Скелет, до глаз закутанный плащом,
Чего-то ищет, скалясь черным ртом.

Напрасно трусливое сознание начинает подсказывать:

Это — из жизни *другой* мне
Жалобный ветер напел.

Т. е. из жизни гоголевской *"Страшной Мести"*, реминисценция, литература? О, нет: так — *бывает всегда!* И —

Стою среди пожарищ
Обожженный языками
Преисподнего огня.

Тут вот и приподымается в поэзии Блока глубокая безвыходность поэмы *"Возмездие"*; эта поэма по существу есть поэма о проклятом роде, не о каком-либо роде, — о *"роде"*, как таковом; ведь *колдун "Страшной Мести"* — чудовище зла потому, что — последний в грехом отягощаемом роде: он — декадент, жалкий выродок и прижизненный труп; *"Мертвецы"* его ждут, потому что давно они — в нем. Тема рода всегда — тема грешного рода; ведь все родовое — в *грехе первородном;* мы сильны постольку, поскольку мы силою Божией возрождаемся в Духе; но для рода (в Христе) умираем. В сознании Блока Христос — не воскрес; оттого-то не может себе подтвердить он: *"Не "Я", но Христос во мне"*. Между тем: к испытанью *порогом* вплотную придвинут он; а в испытании поднимается пред сознанием испытуемого бесконечная цепь кармы личной и родовой; тема *рода* здесь — тема *грызущего мертвеца.*

Автор первого тома стихов говорит:

Мы помчимся к бездорожью
В несказанный свет.

Бездорожье дано лишь в безродности, в отрешении от наследственных уз. Отступление поэта от бездорожий внеродного света к дороге наследственной, родовой, есть потеря возможности силою света Христова преодолеть испытания: отступление — от дерзающего максимализма в позитивный *"минимализм"*; и недаром он ставит знак равенства меж *возмездием* ("страшной

местью") и — *родом;* поэма *"Возмездие"*, занимающая А. А. в тот период — поэма о роде. Для Блока же *"род"* — темный род, грешный род, издавна угрожающий светлому миру его.

Когда в беседе с А. А. я наткнулся на жуткую в нем тему *"рода"*, то я испугался: опасности для А. А. этой темы; мне помнится: взявши за локоть меня, говорил он в полях все о косности человечества в роде, о том, что он — косный, что родовое начало его пригибает к земле; он стоял предо мною с печальной улыбкою:

— Какие бы ни свершали усилия светлые силы, на чаше весов перевесит исконная смерть.

Это было в июле 1904 года; Он так о *влияньи рода* судил тогда, еще не вполне пригибаемый родом; а через пятнадцать лет, в предисловии к поэме *"Возмездие"* он написал: "*Тогда* (то есть в 1911 году) *мне пришлось начать постройку большой поэмы... Тема заключается в том, как развивается зрение единой цепи рода. Отдельные отпрыски всякого рода развиваются до положенного им предела, и затем вновь поглощаются мировой средой... Мировой водоворот засасывает в свою воронку почти всего человека: от личности почти вовсе не остается следа; сама она, если остается существовать, становится неузнаваемой, обезображенной, искалеченной. Был человек — не стало человека, осталась дрянная, вялая плоть и тлеющая душонка*"[164]*.

Читатель: не ужас ли это согласие на истлевание личности и на *"тлеющую душонку"*? Поэт оговаривается, что *"семя брошено и в следующем первенце растет новое"*; все равно: перенесение судьбы бессмертия от "я" к *"семени"* угашает все то, что способно вооружить на борьбу с бесконечной *змеей* (со временем). Именно: пред явлением Дракона сознанию Блока отчетливым отступлением от Вечности к темам Золя[165] отступает в *минимализм* он; и заключает он компромисс с изживаемой точкой зрения позитивизма, которым когда-то ругался поэт.

Отступление в род подымает в нем тему возмездия: здесь заглавие, аллегория, превращается в совершенно реальную жуткую тему; род — *"страшная месть"*; полоненный им, мчится конем на Карпаты, где Мститель стоит, ожидая, чтоб свергнуть примчавшегося во тьму Аримана:

Было то в темных Карпатах
Было в Богемии дальней...
Впрочем, прости... мне немного
Жутко и холодно стало.

Тема вступления в поэму звучит — уже двойственно: Зигфридом Нотунг кутается:

Так Зигфрид правит меч над горном
. . . .
И Миме, карлик лицемерный,
В смятеньи падает у ног[166].

* Из предисловия к поэме "Возмездие".

Забывает поэт: Зигфрид — в спину сражается; загораются небеса; и все — гибнет; поэт ощущает себя и не Зигфридом, а рабом *"из глины созданным и праха"*; меж тем:

Над всей Европою *дракон*,
Разинув пасть, томится жаждой...
Кто нанесет ему удар?..
Не ведаем: над нашим станом,
Как встарь, повита даль — туманом,
И пахнет гарью. Там — пожар.

На фоне этого начинающегося мирового пожара изображен —

Коротенький обрывок рода —
Два-три звена...

Изображено, как —

Сыны отражены в отцах.

В предисловии к поэме А. А. пишет: *"Вся поэма должна сопровождаться определенным лейтмотивом "возмездия"; этот лейтмотив есть мазурка... мазурка — разгулялась; она звенит в снежной вьюге... В ней явственно слышится уже голос возмездия"*.

И так: с одной стороны, поднимается на Европу разинувший пасть и задышавший огнем Дракон, а с другой стороны — пригибаемый темой *"возмездия"* род; где же Зигфрид? Ясно, что выхода — нет: тупик, смерть.

"Месть! Месть!" — в холодном чугуне
Звенит как эхо над Варшавой:
То Пан Мороз на злом коне
Брящает шпорою кровавой.

Пан Мороз есть примчавшийся всадник (с Карпат); и он рыщет по городу за порождением грешного рода:

Молчат магнатские дворцы,
Лишь Пан Мороз во все концы
Свирепо рыщет на раздолье!
Неистово взлетит над вами
Его седая голова,
Иль откидные рукава
Взметнутся бурей над домами,
Иль конь заржет — и звоном струн
Ответит телеграфный провод,
Иль вздернет Пан взбешенный повод,
И четко повторит чугун
Удары медного копыта
По опустелой мостовой.

Здесь, не правда ли, слышится явственно тема Медного Всадника? И — шагов Командора?

Месть! Месть! — так эхо над Варшавой
Звенит в холодном чугуне.

Эта тема летящего всадника на коне перекликается с темой метельного всадника *"Кубка Метелей": "Над крышей вздыбился воздушный конь, пролетая в небо развеял хвост... На нем сидел метельный всадник... На минуту блеснуло его копье; он скрылся в снежном водовороте. Раздалось звенящее трепетанье: это буря рванула номер фонаря".* Или *"Раздались призывы: "Ввы... Ввы... Уввы..." Над крышей вздыбился воздушный конь".* Или: *"Вздыбился над домами... вьюжный... белый... замахнулся ветром, провизжавшим над домом, как мечом: "Вот я... вот вас... вот я! Моя ярость со мной".* Или: *"Над домами занес свой карающий меч... "Задушу снегом, разорву ветром". "Спустился меч... Взлетел. И с высей конем оборвался".*

Эти всадники (Пан Мороз и Метельный) суть образы Рока, или всадника на Карпатах. Уже рок подступает к "Возмездию"; и — некуда скрыться, разве что в комнату, куда зазывают:

"Прошу вас. В пять он умер. Там..."
Отец в гробу был сух и прям.

С одной стороны — ярость рока, Возмездие; с другой —

Мертвец, собравшийся на смотр,
Спокойный, желтый бессловесный.
. . . .
Внушал тоску и мысли злые
Его... тяжкий ум,
Грязня туман сыновних дум...

И он отравил его, потому что отравленный сын знает точно, что —

... На ребра гроба лег
Свинец полоскою бесспорной
(Чтоб он, воскреснув, встать не мог.)

Меж Ариманом, иль мертвецом, воскресающим *второй смертью,* и Всадником (Люцифером), вопящим — "Месть, Месть", — ограничиваются кругозоры ариманической части сознания; остается одно: подчиниться.

И статуя Командора, себя самого, от далеких Карпат, прошлых гор — подступает:

Я твой давно *забытый* час.
Стучусь. Откройся.
. . . .

Но: —

(Это я помню неясно...
Это из жизни другой)
. . . .
Пролетает, брызнув в ночь огнями,

Черный, тихий, как сова мотор.
Тихими тяжельными шагами
В дом вступает Командор...
Настежь дверь. Из непомерной стужи —
— (То — Пан Мороз...)*
Словно хриплый бой ночных часов, —
Бой часов: — Ты звал меня на ужин
— Я — пришел. А ты готов?[167]

Так происходит в сознании одной половины душевного "я" (ариманической) встреча со Стражем Порога; здесь же страж — другая половина душевного "я", полоненная Люцифером. Командор — белый, окаменевший очерк рыцаря, некогда говорившего:

Я их хранил в приделах Иоанна,
Недвижный страж, — хранил огонь лампад.
. . . .
Я скрыл лицо и проходили годы.
Я пребывал в служеньи много лет[168].

Служенье же протекало на той озаренной *"горе"*, от которой бежала другая, отколотая от святыни часть "я" ("Сбежал с горы").

Сбежавшее, грешное "я" — грешно очень; но не безгрешна оставшаяся на горе часть сознания, утверждающая горделиво, что —

... в оный День — *один* участник встречи,
Я этих встреч *ни с кем не разделил*.

Не разделил; и — замкнулся в своем одиночестве; и — не спустился за убежавшим, не выдержавшим выспренной гордости сотоварища "двойником"; но покинутое половиной себя самого, превращается "я" Иоаннова рыцаря — в белого, бескровного призрака; в скорбного инока:

Брожу в стенах монастыря,
Безрадостный и темный инок;
Чуть брезжит бледная заря, —
Слежу мелькание снежинок.
. . . .
Заря бледна и ночь долга,
Как ряд заутрень и обеден.
Ах, сам я бледен, как снега,
В упорной думе сердца беден.[169]

Обледневает, окаменевает и ждет на "Карпатах": свершить месть *"другому"*.

Да минует нас чаша сия!

. . . .

Проследим теперь повесть бледнеющей половины душевного "Я", полоненной мечтой Люцифера; она не сошла за сбегающим в чащу; и оттого стала

* В скобках — примечание Андрея Белого (*С. П.*).

вовсе она обескровленным призраком: мысли, которая, замыкаясь в пределах рассудка, стремится к высокому; но высокое — признает за мечту; и не видит в нем — сущего; не воплощенная идея — пуста; и пустая идея — понятие; в мире понятий все — "кажется"; все — только Майя; и рыцарь мечтаний абстрактного мира проходит по сущему миру — тоскующим денди; само слово *"рыцарь"* становится здесь аллегорией; и встречаясь с собою, воспринятым чувственно, — видит нахального, постаревшего господина, произведя на него впечатление жуткого трепета крыл и исторгая тяжелое восклицание: "И опрокинувшись заглянет... белый призрак мне в лицо..." Этот денди мечты заключен ведь в пределы рассудка — *"Тебя здесь нет: ты там"*; а этого *"там"* как бытия ведь и нет вовсе.

Ужасен холод вечеров!..

В этом холоде движется контур посетителя ресторанов; но он, предающийся буйным разгулам, — двойник недействительного в мире денди *("мир есть мое представление"); черный сквозной человечек* есть тень: не путает *"нахальный двойник"*, потому что он есть аллегория миросозерцания денди, не существующего в действительности.

Несуществующих шагов
Я слышу шелест по дороге.[170]

Шаги *теневых проходимцев*, протянутых под ноги, — мороки; их — спасать нечего; *жизнь "пустынна, бездонна, бездарна"*, и — нет ее вовсе; щемящие песни глухо гуторят в ушах:

Всюду эти щемящие ноты
Стерегут и в пустыню зовут...[171]

Мертвеца с безобразия к безобразию —
Скрежещущий несет таксо-
мотор.

Жизнь — лишь общая форма познания: *категория должности* или — абстрактивная мысль (после бегства с *горы* полнокровного двойника рыцарь Мудрости, обескровленный, может рассудочно лишь рассуждать о прекрасной идее, о Логике, но не о Даме). И рыцарь мертвец:

Как тяжко мертвецу среди людей
Живым и страстным притворяться!
Но надо, надо в общество втираться,
Скрывая — ...лязг костей.

Отвратительно, что представление Мертвеца, — отражение иллюзии жизни: в самой жизни мысли; иллюзия мысли — жизнь собственной тени, которая волочится к Елагину острову, думая, что она — веселится: и — "кости лязгают о кости":

Спит мертвец. На нем изящный фрак.

Или:

Живые спят. Мертвец встает из гроба,
И в банк идет, и в суд идет, в сенат...[172]

Прохожие:

...дома и *прочий вздор.*

Теневой этот вздор суть аллегорические понятия, круга рассудка; они меняются прихотливою мыслью, они догматически утверждаются эмпирическим фактом; в сознании крайнего кантианства они суть — скелеты, иль — схемы; само представление двойника просто есть познавательный результат предпосылки сознания; анализ его рассуждающим сознанием переживает он как собственную свою гибель: как бегство к аптекарю за "Venena"; "Venena" здесь есть *"вещь в себе"*, строящая пределы познания; переживается она — Мстителем, угрожающим Рыцарем, — угрожающим гибелью аримановского двойника, убегающего от себя, как от Всадника; пуля же мысли — его настигает:

Чеченская пуля верна.[173]

Упразднен существующий мир: освобождена чистая мысль, свободная от чувственных примесей:

Летун отпущен на свободу,
Качнув две лопасти свои,
Как чудище морское в воду
Скользнул в воздушные струи.
Уж в вышине недостижимой
Сияет двигателя медь.[174]

Этот двигатель — мысль: мысль — уносит в безбрежный мир:

В бинокле вскинутом высоко,
Лишь воздух — ясный, как вода.

Но безобразный мир есть ничто:

Миры летят. Года летят. Пустая
Вселенная...[175]

Или:

Что? Совесть? Правда? Жизнь?..[176]

Тут:

Все... чернее сгущается свет,
И все безумней вихрь планет[177].

Во всех вихрях *пространство и время*, иль формы a priori независимые от фактически упраздненного мира; в не сущем работает *"двигатель"* мысли, как в *сущем; не сущее* сотворяет здесь *"энное"* образование миров (мир мечты) — ради скуки; так Брама видит в снах творений: душа их — *Прекрасная Дама, — Абстрактная Дама;* и рыцарь, иль денди, — *"субъект"* познавания; он — влечется к мечте, в глубь зеркал.

Входит ветер, входит дева
В глубь испорченных зеркал.[178]

И в ту не сущую Деву — влюбляется:

Не уходи. Побудь со мною
Я так давно тебя люблю.
. . . .
Из хрустального тумана,
Из невиданного сна
Чей-то образ, чей-то странный...

К образу нового мира мечты протянулось "я". Но он строится теми же законами рассуждающего сознания, образующего ту же все упраздненную пустоту:

Из хрустального тумана,
Из невиданного сна
Чей-то образ, чей-то странный, —

Но виданный. Где же? В Богемии дальней? Нет —

— В кабинете ресторана
За бутылкою вина.

Этот образ — мечтает о том же все: о Елагином, о венгерке; двойник, упраздненный в *том* мире, — воскресает в сем мире несущей мечты; стало быть: *"ветер дева"* — не *"ветер"*; простая цыганка — лишь *"ветер мечты"*.

Когда ж конец назойливому звуку
Не станет сил без отдыха внимать...
Как страшно все! Как дико!
Дай мне руку,
Товарищ, друг! Забудемся опять.[179]

Товарищ же, тень — убегает; и — убегает *тень тени товарища;* лучшего друга; "венгерка же — *тень тени тени;* Мечта, как действительность; *тень тени тени товарища, лучшего друга,* есть смерть у прилавка *Аптеки: в сне сна,* где Меч Мстителя — форма протянутости *"субъекта сознания"*, видит Мстителя, Всадника на Карпатах, который не всадник, а — двигатель, Авиатор, Авторская Мысль, тревожащая себя самое в своем собственном творчестве — собственным двойником; она видит в ресницах *"товарища, сотворенного друга"* — лишь ужас; и ужасом отдается на ужас;

Больная, жалобная стужа,
И моря снеговая гладь...
Из-под ресниц сверкнувший ужас —
Странный ужас (дай понять).
Слова? — Их не было. Что ж было? —
Ни сон, ни явь. Вдали, вдали
Звенело, гасло, уходило
И отделялось от земли.[180]

Отделялось "Я", денди во взорах нахального юноши, в дальней Богемии; совершалось перевоплощение мира двойника в мир материи, в мир материального тела перед аптекою: и возник ресторан, где —

...рука подлеца нажимала
Эту грязную кнопку звонка.[181]

В тот же миг, как рассеялся чувственный призрак пред взорами рыцаря-Мстителя, обнаружилась перед взорами пустота, куда падает авиатором, сломав винт машины, тот рыцарь; и кабинет ресторана, где он восседал,

За бутылкою вина —
— возникает в мечтательных рассуждающих схемах сознания: —

Слишком больно мечтать
О былой красоте
И не мочь:
Хочешь встать —
И ночь.[182]

Всадник Карпат и пьянчужка, теперь не могущий встать, — то же все:

Припомнишь ты
И то, и се,
Все, что было... —
— (Было в темных Карпатах,
Было в Богемии дальней) —
Все, что было,
Что манило,
Что прошло,
Все, все.[183]

Был же рыцарь, оставшийся верный *"горе"*:

Лик его был гневно-светел.

Был другой — посетитель трактиров:

Все, что было,
. . . .
Что прошло,

Командор, убивающий Дон-Жуана, — есть сон Дон-Жуана; он — пьяное окаменение: и —

Говорят черти:
Греши, пока тебя волнуют
Твои невинные грехи,
Пока красавицу колдуют
Твои греховные стихи.[184]

Тут-то и входит морочивший Люцифер, уводивший в *"надзвездные мысли"*, которые были — иллюзией Люцифера; плотяная материя есть иллюзия Аримана; а Ариман — есть неизбежная смерть: Люцифер — неизбежная жизнь: *вечно* эта вот *жизнь;* или — *вечное возвращение в прошлое:* круг:

Осенний вечер был. Под звук
дождя стеклянный
Решал все тот же я — мучительный вопрос,
Когда в мой кабинет, огромный
и туманный,
Вошел тот джентльмен. За
ним — лохматый пес.
На кресло у огня уселся гость устало,
И пес у ног его разлегся на ковер.
Гость вежливо сказал: *"Ужель
еще вам мало?
Пред Гением Судьбы
пора смириться, сэр!"*[185]

И воистину: встреча со Стражем Порога люциферской части душевного "Я" столь же тягостна, как той части, которая пленена Ариманом. Мечта, как действительность, вечная, — окружающей жизни: во веки веков! Но сознание — протестует: *"Но в старости — возврат и юности, и жара"*. Где смыкается круг, нет ни жара, ни холода; юности — нет; но и дряхлости — нет.

И странно: жизнь была — восторгом,
бурей, адом,
А здесь — в вечерний час —
с чужим наедине, —
Под этим деловым, давно спокойным
взглядом
Представилась она гораздо проще мне.[186]

Простоту эту выдержать и не лишить себя жизни, и не поволить теперь *"окончить до срока* свой путь", — в этом смысл испытания; ведь невольно захочется уничтожения *рыцарю поднебесной мечты:*

Так падай, перевязь цветная!
Хлынь кровь, и обагри снега![187]

В испытании третьем — одновременное нападение: справа — темнотного Аримана; и слева — светлейшего Люцифера: на части душевного "Я"; вместе

с тем: нападение двойников друг на друга: один — обнажает меч рыцаря на другого; другой — отвечает на это ужаснейшим утверждением себя, как исконно живущего мертвеца в той же самой заплеванной жизни; тут Люцифер — подменяется Ариманом; тут Мститель — становится статуей Командора; тут Ариман подменяется Люцифером (иль Командором, Сэром, Бессмертным Жидом); двойники, обе части разъятого "я", — предаются своим страшным участям: жаждущий смерти из смерти теперь — созерцает бессмертие смерти: рука, заносящая над собой самим меч, роняет меч:

Меч выпал. Дрогнула рука.

Другой, собирающийся отомстить жаждущему бессмертия страшной смертною местью: он умирает — от им же задуманной мести:

Хлынь кровь, и обагри снега!

Обе части устранены в раздельности, чтобы — не быть, иль — восстать в "Я", в Ich, в I.Ch:[188]

Раздался голос: Ecce homo!..

Что испытывает Большое Сознание Чело Века в ту пору, когда его части иль части низшего "я" переживают порог? *Оно* переживает опасность Порога — по-своему: исход испытанья его обусловлен исходами испытания низшего "я".

Испытанье духовного "я" — встреча с образом мирового Дракона; *"Дракон"* — это символ духовного (а не душевного) зла; символы символа — неудачные разрешения индивидуально-духовных и социально-духовных проблем; рост государственной культуры — такой символ; в механике государства, съедающего личные жизни, иль вдавливающего их в подсознание вне-государственных физиологических отправлений. С Драконом встречается Блок — гражданин; где-то видящий всечеловеческое назначение России. В духовных путях только тот прочитает духовные символы, кто победил в себе сферу душевного раздвоения; этой победы в эпоху последнего *испытания* — нет у Блока; оно настигает его безоружным.

Ведь и сэр, усмиряющий; ведь и *"каменный Командор"* в мире духа — иные, чем в мире души; их проекция в социальную сферу — стальная, давящая власть *государственного механизма;* здесь Сэр-Командор есть — Ллойд-Джордж[189], или — Вильсон[190], иль Пуанкаре[191]? Кто еще? Тот, Кто их выдвигает, тот спрятан за ними. *"Его"* ощущает духовное зрение А. А. Блока; и *"Он"* направляет Россию путями огромной неправды, отображаемой, как вовлеченье России, любимой Жены, в *"мировую бойню"* народов, в начало пожара, который проносится с запада на восток, поднимая с востока на запад ответные волны грядущего японо-монголо-китайского нападения на Европу; так мировая неправда, вошедшая в запад войной, отразится в востоке — такой же войною: с востока на запад. Россия, стоящая меж востоком и западом,

должна явно сказать свое *"нет"*, чтобы выполнить миссию: отражения бойни с востока; она — щит; поверхность его должна быть очень чистой: ведь в ней отразится Лик Скорой Помощницы. В 1908 году Блок предчувствовал *"бой"*: в образе воспоминания о Куликовом Поле встает поле будущего; святость русско-вселенского дела требует незапятнанности *"щита"*, поставленным пред востоком и заграждающим Европу: в *"щите"* отразится ведь лик Богоматери.

И когда на утро тучей черной
Двинулась орда, —
Был в *щите* Твой лик нерукотворный
Светел навсегда.

Блок первый откликнулся на стихию грядущей войны, как предчувствовал полосу страшных годин в 1898 году в стихотворении, где Гамаюн, птица вещая —

Вещает иго злых татар,
Вещает казней ряд кровавых
И трус, и голод, и пожар,
Злодеев силу, гибель правых.

В 1901 году он предчувствовал зори Солнца, могущего взойти над Россиею в *случае выполнения нами судьбою врученного русско-вселенского дела;* но оговорка не переживалась Блоком в годах тех; и оттого-то *"в случае, если"* встает — через десять лишь лет как угроза.

В 1905 — 1906 году гаснут зори далеких ландшафтов; а в 1908 году придвигаются ландшафты ближайшие скорых опасностей; и поднимается гигантская туча, которую Блок воспринимает всем своим существом: социально, морально, душевно, духовно, физически, лично.

На пути — горючий белый камень.
За рекой — поганая орда.
Светлый стяг над нашими полками
Не взыграет больше никогда.
Я — не первый воин, не последний,
Долго будет родина больна.
Помяни ж за раннею обедней
Мила друга, светлая жена.[192]

Характерно здесь все: ощущение *"поганой орды"*; ощущение долгой болезни России, которая будет отдана чародею: и — сглажена.

Какому хочешь чародею
Отдай разбойную красу.[193]

И не является ль *"Новая Америка"* этой Россией, отдавшей свою лутовую, разбойную стать иноземному колдуну *("Страшной Мести")*, одетому в красный жупан с искрой отсвета *"железоплавильных"* печей. В стихотворении

"Новая Америка" рисует он две России: не тронутую цивилизацией, и — отдавшую красу свою иноземному капиталу. И первая — вот:

Сквозь земные поклоны да свечи,
Ектеньи, ектеньи, ектеньи —
Шепотливые, тихие речи,
Запылавшие щеки твои...[194]

Вторая Россия отделена перерывом от первой: каким-то зияющим пустырем:

Дальше, дальше... И ветер рванулся,
Черноземным летя пустырем.

И за ним —

Тянет гарью, горючей; свободной,
Слышны гуды в далекой земле.
. . . .
Путь степной — без конца, без исхода,
Степь да ветер, да ветер, — и вдруг
Много-ярусный корпус завода,
Города из рабочих лачуг...

"Черноземный пустырь", степь без края; вдруг — корпус завода; перепрыги какие-то к Руси *"заводской"*, напоминающие похищение красавицы:

Какому хочешь чародею
Отдай разбойную красу.

В этой смелой отваге отдачи себя *"чародею"* — надменнейший вызов:

Но не страшен, невеста, Россия,
Голос каменных песен твоих!

Думаю все-таки — *"страшен":*

"Пускай загубит и обманет,
Не пропадешь, не сгинешь ты" —

— однако же:
путь спасения — тернист; испытания — *"страшные годы России";* почему же поэт заявляет тогда, что — *"мы дети страшных лет России"?* Да именно потому, что душа цельная, долженствующая примирить восток с западом, вдруг распалась, между западом и востоком; в одной половине, в восточной:

Там прикинешься ты богомольной,
Там старушкой прикинешься ты,
Глас молитвенный, звон колокольный,
За крестами — кресты да кресты.

Во второй, в западной —

Черный уголь — подземный мессия.

А меж обеими половинками — перерыв, иль — пустырь:

...И ветер рванулся,
Черноземным летя пустырем.

В тот пустырь, вместо будущей, третьей России ("природа боится пустоты"), стремительно вдавливается от запада *"стальной интеграл";* и втягивает Россию в войну; а с востока проходит ужасная ведьма, старуха, отдавшаяся кабацкому пьянству: монголизация русских задач — налицо.

И я с вековою тоскою,
Как волк под ущербной луной,
Не знаю, что делать с собою,
Куда мне лететь за тобой.

Ужас востока есть излияние древней *желтой, китайской* души в душу нашу. И образ "татар" или китайца с винтовкой встает в потрясающих образах. Молнья боя разрезала воздух в 12-ом (война на Балканах), в 13-ом (недоразумения с Австрией); упала стрелою на нас лишь в 14-ом году; *"Новая Америка"*, т.е. дух авантюры вовлек-таки в бойню; и — отклонил нас от миссии: быть в стороне от войны; воспевали поэты войну; Блок учуял лишь:

Грусть — ее застилает *отравленный пар*
С Галицийских, кровавых полей.[195]

Да:

Петроградское небо мутилось дождем.
На войну уходил эшелон.

Даже в самом *"ура"* ему слышались крики *"пора"*...

В грозном клике стояло: *пора*...

Что — *"пора"*? Да молиться:

Теперь твой час настал: — молись.[196]

Берлин 1922 г. Декабрь.

Андрей Белый.

[50]Из стих. "Светлый сон, ты не обманешь..." (1904).

[51]Аллюзия на строки из стих. "Поэт" (1905, опубликовано в сб. "Нечаянная радость"), в котором отец на вопрос дочки о том, почему к вечно плачущему поэту не является из-за моря Прекрасная Дама, отвечает:

— Она не придет никогда:

Она не ездит на пароходе.

[52]До света *(лат.)* Белый обыгрывает название поэтического цикла 1898—1900 гг., открывающего первую книгу стихов Блока.

[53]Экхарт Иоганн (Майстер Экхарт, ок. 1260—1327/1328) — немецкий мыслитель, представитель философской мистики позднего Средневековья. В своих трудах заостряет идеи христианского неоплатонизма. Его доктрина "божества" как безличного и бескачественного абсолюта, стоящего за "богом" в трех лицах, дала импульс многовековой традиции европейской мистики, предвосхитила идеалистическую диалектику единого божественно-мирового процесса.

[54]Рейсбрук Удивительный (Ян ван Рейсбрук, 1324—1381) — средневековый голландский мистик. Интерес к нему, так же, как и к Экхарту, надолго сохранялся в среде "аргонавтов". Позднее в издательстве "Мусагет" была выпущена книга: "Рэйсбрук Удивительный. Одеяние духовного брака" // М., 1910. Перевод Михаила Сизова.

[55]Упоминание в данном контексте Метерлинка (см. о нем ком. к гл. 1) обусловлено тем, что в его книге эссе "Сокровище смиренных" (1896) — этом развернутом манифесте символизма — выдвинут и обоснован принцип "второго монолога", согласно которому главная задача театра — молчаливое общение человека с таинственными сферами духа.

[56]"Stephanos" ("Венок", 1906) — сборник стихов Брюсова.

[57]"Tertia Vigilia" ("Третья стража", 1900) — сборник стихов Брюсова. "С "Tertia Vigilia" началось мое признание как поэта", — писал Брюсов в автобиографии (Советские писатели. М., 1959. Т. 2. С. 193).

[58]Сборник стихов Брюсова 1909 г.

[59]Роман Брюсова 1908 г., действие которого относится к XVI в.

[60]Опубликована в журн. "Новый путь" (1903, № 9). Была воспринята современниками как "манифест символического движения" (См.: *Мочульский К.* Андрей Белый. Париж, 1955. С. 54).

[61]Персонаж соловьевской "Краткой повести об Антихристе". "Великий маг" и "чудодей" Аполлоний служит Зверю, ставленнику Сатаны, который возглавляет нашествие восточных племен на Европу.

[62]Заключительные строки стих. Брюсова "Сумасшедший" (1895).

[63]Неточность: в Апокалипсисе Гад не упомянут, а только — при перечислении всех колен сынов Израилевых — названы "запечатленные из колена Гадова" (Откровение, 7:4—5). Судя по контексту, Белый имеет в виду апокалипсического зверя, ничего общего с родоначальником храброго и победоносного колена пастухов и воинов не имеющего.

[64]С посвящением Андрею Белому стих. "Бальдеру Локи" (ноябрь 1904) было опубликовано в альманахе "Северные цветы ассирийские" (М., 1905). При повторной публикации в сборнике "Stephanos" посвящение было снято.

[65]Цитата из стих. "Старинному врагу" (1904).

[66]Город в Сирии, особо почитаемый христианами как место чудесного обращения преследователя христиан Савла в христианина Павла, апостола Павла (Деяния, 9:2; 22:4—16).

[67]Цитата из стих. "Ужасен холод вечеров...".

[68]Из стих. "Фиолетовый запад гнетет...".

[69]Роман Белого, публиковавшийся в течение 1909 г. в журн. "Весы" (отдельное издание — М.: Скорпион, 1910).

[70]Производное от греч. "гиерофант" — высший жрец при Элевсинских мистериях, торжественно их открывавший и провозглашавший священные откровения.

[71]Группа "Парнас", объединение французских поэтов (1866—1876), противопоставляла бунтарским идеалам романтиков принцип "искусство для искусства", "бесстрастную поэзию" "прекрасных форм".

[72]Повесть опубликована в 1847 г.

[73]Баллада Томского из 1-го действия оперы П. И. Чайковского "Пиковая дама" (1890; либретто М. И. Чайковского).

[74]Фигнер Николай Николаевич (1857—1918) — певец, первый исполнитель партии Германа в "Пиковой даме".

[75]Имеется в виду роман с Н. И. Петровской (см. о ней ком. 254 к гл. 1). Белый разрывает отношения с Петровской по возвращении в Москву в середине июля 1904 г.

[76]Министр внутренних дел и шеф жандармов В. К. Плеве был убит эсером Е. С. Сазоновым 15 июля 1904 г.

[77] Речь идет о рождении 30 июля 1904 г. наследника русского престола Алексея.

[78] 5 сентября 1905 г. в американском городе Портсмуте был заключен так называемый Портсмутский мир, завершивший русско-японскую войну 1904—1905 гг.

[79]Щукин Иван Иванович (1869—1907) — коллекционер, художественный критик; брат фабриканта С. И. Щукина.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

[1]В имение Серебряный Колодезь Белый возвращается 19 июля и находится там до конца августа 1904 г.

[2]Речь идет о письме от 25 июля, в котором есть следующие строки: "Я ничего не могу сказать о настоящем. Ничего не было чернее его. Ничего не вижу, перед глазами протянута цепь вся в узлах (П е р е п и с к а. С. 103). Переписка обоих поэтов была позднее оценена Белым как "блестящий литературный дневник эпохи" (О Б л о к е. С. 215).

[3]Геффдинг Херальд (1843—1931) — датский философ и психолог. В его книге "Философские проблемы", которую штудировал Белый, кантовскому понятию нормы как высшего (нравственного) блага противопоставляется норма как правило поведения, направленного на актуализацию потенциальных ценностей.

[4]Вундт Вильгельм (1832—1920) — немецкий психолог, физиолог, философ; один из основоположников экспериментальной психологии. Скорее всего Белый имеет в виду его работу "Система философии" (неточно названная в тексте "Метафизикой"), которая была опубликована в русском переводе в 1902 г.

[5]Джойс Джеймс (1842—1910) — американский философ и психолог, один из основателей прагматизма. Белый ссылается на книгу "Научные основы психологии", вышедшую в русском переводе в 1902 г.

[6]С июля 1903 г., пишет Белый, "начинается усиленное изучение мной Канта: я штудирую "Пролегомены", "Критику чистого разума", делаю конспекты: и рассказываю себе главу за главой "Критику" (М а т е р и а л к б и о г р а ф и и. Л. 40). В тексте Белого названа одна из трех "Критик" Иммануила Канта, составляющих основу учения философа о явлениях и вещах, как они существуют сами по себе, — "Критика чистого разума" (1781).

[7]Впервые напечатана в журн. "Новый путь" (1904, № 9). Вошла в А р а б е с к и.

[8]Неточная цитата из статьи "О целесообразности", опубликованной в А р а б е с к а х (С. 106).

[9]"Мы должны стать позитивистами, если хотим утвердить сущее" — *(фр.)*.

[10]Заключительные строки статьи "О целесообразности" (А р а б е с к и. С. 114).

[11]Строки из поэмы А. Белого "Первое свидание" (1921).

[12]Риль Алоиз (1844—1924) — немецкий философ-неокантианец.

[13]Риккерт Генрих (1863—1936) — немецкий философ, один из основателей баденской школы неокантианства. Философия, согласно Риккерту, это наука о ценностях, которые образуют "совершенно самостоятельное царство, лежащее по ту сторону субъекта и объекта" (*Риккерт Г.* О понятии философии // Логос, 1910. № 1. С. 33). Уже цитировавшийся С. Кесседи определяет систему Белого как "критическую адаптацию теории Риккерта" ("Selected Essays...". P. 314).

Работа Риккерта, которая особо интересует Белого и которую он называетв тексте "Der Gegenstand der Erkenntnis", изданная в 1892 г. и переизданная в 1904 г. под названием: "Der Gegenstand der Erkenntnis; Einführug in die Transzendentalphilosophie". Белый позднее вспоминал об октябре 1904 г.: "...в конце месяца натыкаюсь на книгу Риккерта "О предмете познания". И с этого момента скрупулезно, по страничкам, штудирую эту книгу (и ноябрь, и декабрь); так постепенно неокантианские проблемы начинают въедаться в меня" (Ракурс к дневнику. Л. 24 об.).

[14]Статья, написанная осенью 1909 г. специально для книги статей Символизм: "вдогонку уже набираемому "Символизму" пишу в 10 дней свою "Эмблематику смысла", долженствующую хоть собрать кое-что из идеологических лозунгов в связном виде; "Эмблематика" — черновик предисловия к будущей системе" (Почему я стал символистом. С. 449).

[15]Серафимо-Дивеевский Троицкий общежительный женский монастырь (Нижегородская губ.) был основан в 1780 г.

[16]Серафим Саровский (в миру — Прохор Сидорович Мошнин) (1759—1833) — православный подвижник, один из самых почитаемых святых в русской православной церкви. Цель христианской жизни усматривал в "стяжении Духа Святого" (см.: Святой Преподобный Серафим Саровский Чудотворец. Одесса, 1904). Облик Серафима Саровского и его учение о смысле и исполнении христианской жизни произвели глубокое впечатление на Белого, который посвятил отшельнику свое юношеское стихотворение "Святой Серафим" (1903). "Все чаще и чаще мне начинает казаться, — пишет он 3 марта 1903 г. Э. К. Метнеру, — что старец Серафим — единственно несокрушимо-важная и нужная для России скала в наш исторический момент" (РГБ, ф. 167, ед. хр. 1. Л. 10). Сам Белый датирует чтение "всего о святом Серафиме" второй половиной 1902 г. (см. Автобиографические письма к Иванову-Разумнику — Cahiers du Monde russe et sovietique. Vol. XV. 1974. № 1 — 2. С. 60). Об отношении Белого к Серафиму Саровскому см.: *Malmstad J.* Andrey Bely and Serafim of Sarov — Scotisch Slavonic Review, 1990, № 14.

[17]Ошибка памяти Белого: поездка с матерью в Саровский монастырь, а оттуда в Арзамас и Нижний Новгород датируется концом августа.

[18]Имеется в виду оригинальная оптическая теория, разработанная Гете — естествоиспытателем и натурфилософом.

[19]См. ком. 52 к гл. 3.

[20]Строки из стих. "Мне снилась снова ты, в цветах, на шумной сцене".

[21]Имеется в виду "Песня Офелии (Разлучаясь с девой милой)".

[22]Цитата из стих. "Прошедших дней немеркнущим сияньем..." — блоковский перефраз строк Шекспира.

[23]Упоминаемый Белым любительский спектакль (сцены из "Гамлета") состоялся в июле 1898 г., в лето окончания Блоком гимназии и поступления на юридический факультет Петербургского университета.

[24]Из стих. "То отголосок юных дней...".

[25]Заключительные строки стих. "Твой образ чудится невольно...".

[26]Заключительные строки стих. "Ищу спасенья...".

[27]Цитата из стих. "За городом в полях весною воздух дышит..." (1901).

[28]Строка из стих. "Предчувствую Тебя. Года проходят мимо...".

[29]Эмпедокл из Агригента (ок. 490—430 до н. э.) — древнегреческий философ, поэт, врач, политический деятель, бросившийся, по преданию, в жерло сицилийского вулкана Этна.

[30]Христос воскрес *(нем.)*.

[31]Давно любимый,
Невозвратимый
Вернулся, горем больше не томим. *(Пер. с нем. Б. Пастернака.)*

[32]Цель бесконечная
Здесь — в достиженье. *(Пер. с нем. Б. Пастернака.)*

[33] Пресвятая матерь *(лат.)*.

[34]"Неописуемое" *(нем.)*.
[35]Собраньем духов окруженный,
Не знает новичок того,
Что ангельские легионы
В нем видят брата своего.
Уже он чужд земным оковам
И прежний свой покров сложил.
В воздушном одеянье новом
Он полон юношеских сил.
(Пер. с нем. Б. Пастернака.)
[36]Неточно процитированные заключительные строки стих. "Я, отрок, зажигаю свечи..." (1902).
[37]Из стих. "Я — тварь дрожащая. Лучами..." (1902).
[38]Федоров Николай Федорович (1828—1903) — мыслитель-утопист, представитель русского космизма, творец "философии общего дела", стремившийся к регуляции природы средствами науки и техники.
[39]Лавров Петр Лаврович (1823—1900) — философ, социолог и публицист, один из идеологов революционного народничества.
[40]Все быстротечное —
Символ, сравненье.
Цель бесконечная
Здесь — в достиженье.
Здесь — заповедность
Истины всей.
Вечная женственность
Тянет нас к ней.
(Пер. с нем. Б. Пастернака.)
[41]Подобия *(нем.)*.
[42]Достижения *(нем.)*.
[43]Миродержица, склонись
В лучезарной тайне
Всей твоей, взнесенной ввысь,
Синевой бескрайней!
(Пер. с нем. Б. Пастернака.)
[44]Стих. Блока "Мы преклонились у завета" (1902).
[45]То есть Блок после 1917 г. "Крушение гуманизма" — статья, датированная 1919 г. и опубликованная в журнале "Знамя" (1921, № 7—8). "Сплошной и мучительный" процесс ее обдумывания и работы над ней отражен в дневнике и записной книжке за март — апрель 1919 г.
[46]Клюев Николай Алексеевич (1887—1937) — поэт. Переписка Блока с Клюевым началась в ноябре 1907 г. Личное знакомство — осень 1911 г. По поводу одного из писем Клюева Блок сообщал Е. Иванову: "Это — документ огромной важности (о современной России — народной, конечно), который еще и еще утверждает меня в моих заветных думах и надеждах" (Собр. соч. Т. 8. С. 252). Подобное восприятие Клюева как носителя народной правды сохранялось у Блока в течение длительного времени. Ср. письмо матери: "Забавно смотреть на крошечную кучку русской интеллигенции, которая в течение *десяти* лет сменила кучу миросозерцаний и разделилась на 50 враждебных лагерей и на многомиллионный народ, который с *XV века* несет одну и ту же однообразную и упорную думу о Боге (в сектантстве). Письмо Клюева окончательно открыло глаза" (Там же. С. 219). Новая встреча поэтов-символистов и "крестьянских поэтов" произошла в годы революции в рядах "скифского" литературного движения.
[47]Орешин Петр Васильевич (1887—1938) — поэт и прозаик, участник альманаха "Скифы".
[48]Заключительная строка стих. "Готов ли ты на путь далекий..." (1899).
[49]Из стих. "На небе зарево. Глухая ночь мертва".

[50]Строки из стих. Вл. Соловьева "Вновь белые колокольчики".
[51]Неточная цитата из стих. "То отголосок юных дней...".
[52]Строки из стих. "Ищу спасенья" (1900).
[53]Неточно процитированное стих. "Предчувствую Тебя. Года проходят мимо...".
[54]Из стих. "В часы вечернего тумана...".
[55]Неточная цитата из стих. "За туманом, за лесами...".
[56]Строфа из стих. "Одинокий, к тебе прихожу...".
[57]Первая строфа стих. "Я все гадаю над тобою...".
[58]Заключительная строфа стих. "Ты горишь над высокой горою...".
[59]Заключительные строки стих. "Ты прошла голубыми путями...".
[60]Заключительная строфа стих. "Я долго ждал — ты вышла поздно...".
[61]Заключительные строки стих. "Ты горишь над высокой горою...".
[62]Заключительные строки стих. "Видно, дни золотые прошли...".
[63]Строфа стих. "Я все гадаю над тобою...".
[64]Строки стих. "Смотри — я отступаю в тень...".
[65]Начальные строки стих. "Вхожу я в темные храмы...".
[66]Цитата из стих. "Мне страшно с Тобой встречаться".
[67]Неточно цитируется стих. "Бегут неверные дневные тени".
[68]Строки из стих. "Пытался сердцем отдохнуть я...".
[69]Цитата из стих. "Мне страшно с Тобой встречаться...".
[70]Строфы стих. "Ты свята, но я Тебе не верю...".
[71]Стих. "Гадай и жди. Среди полночи...".
[72]Из стих. "За городом в полях весною воздух дышит...".
[73]Заключительная строфа стих. "Мы преклонились у завета...".
[74]Строки из стих. "Кто-то с богом шепчется...".
[75]Цитата из стих. "Вхожу я в темные храмы...".
[76]Цитата из 2-го стих. цикла "Religio".
[77]Заключительная строфа стих. "Она стройна и высока...".
[78]Первая строфа одноименного стих.
[79]Вторая строфа стих. "Там — на улице стоял какой-то дом...".
[80]Инспирация наряду с имагинацией и интуицией, согласно учению Р. Штейнера, являются этапами становления самосознающей души. Белый определяет их как "состояние восприятия существа в отображении образом (имагинация), в лицезрении (инспирация) и в слиянии с существом (интуиция)" (*Белый Андрей*. Рудольф Штейнер и Гете в мировоззрении современности. С. 109).
[81]Заключительные строки стих. "Я, отрок, зажигаю свечи...".
[82]Цитата из стих. "Говорили короткие речи...".
[83]Уместно привести определение, данное этому, одному из центральных понятий антропософии Р. Штейнером: "За внешним миром, который дан в обычной жизни, сокрыт иной. У порога его стоит строгий Страж, способствующий тому, чтобы человек ничего не узнавал из законов сверхчувственного мира. Ибо все сомнения, всякую неуверенность относительно этого мира все же легче перенести, чем созерцание того, что надо оставить позади, если хочешь вступить в сверхчувственный" (Путь к самопознанию. С. 41).
[84]Цитата из стих. "Люблю высокие соборы...".
[85]Первые строки стих. "По городу бегал черный человек..." (1903).
[86]Заключительные строки стих. "Мне гадалка с морщинистым ликом..." (1903).
[87]Стих. "Среди гостей ходил я в черном фраке..." (1903) цитируется без разбивки на строфы.
[88]Из стих. "Был вечер поздний и багровый..." (1902).
[89]Из стих. "Я их хранил в пределе Иоанна..." (1902).
[90]Заключительные строфы стих. "Дали слепы, дни безгневны..." (1904).
[91]Первая строка одноименного стих. (1900).
[92]Из стих. "В те целомудренные годы..." (1900).
[93]Заключительная строфа стих. "Мой монастырь, где я томлюсь безбожно...".
[94]Неточная цитата из стих. "Ты уходишь от земной юдоли..." (1901).

[95]Первые строки стих. "Сижу за ширмой. У меня..." (1903).
[96]Из стих. "Голос" (1902).
[97]Из стих. "Царица смотрела заставки...".
[98]Из стих. "В посланьях к земным владыкам..." (1903).
[99]Умри и стань *(нем.)*.
[100]Эти, как и две предыдущие процитированные строки, из стих. "Здесь память волны святой..." (1903).
[101]Из стих. "Царица смотрела заставки...".
[102]Строки из стих. "Мой месяц в царственном зените..." (1903).
[103]Из стих. "Царица смотрела заставки..."
[104]Из стих. "Отрекись от любимых творений..." (1900).
[105]Первая строфа того же стих.
[106]Цитата из стих. "То отголосок юных дней..." (1900).
[107]Строки из стих. "Ищу спасения..." (1900).
[108]Заключительные строки стих. "Медленно, тяжко и верно..." (1900).
[109]Строка из стих. "Мы все простим и не нарушим..." (1902).
[110]Из стих. "Здесь память волны святой..." (1903).
[111]Заключительные строки стих. "Стою у власти, душой одинок..." (1902).
[112]Заключительные строки стих. "Странных и новых ищу на страницах..." (1902).
[113]Из стих. "Не бойся умереть в пути" (1902).
[114]Заключительные строки стих. "Безрадостные всходят семена..." (1902).
[115]Заключительные строки 2-го стих. из цикла "Religio".
[116]Из стих. "Я, изнуренный и премудрый..." (1902).
[117]Последние строки стих. "Кто-то шепчет и смеется..." (1901).
[118]Первая строфа стих. "Я — меч, заостренный с обеих сторон..." (1903).
[119]Цитата из стих. "Я их хранил в пределе Иоанна...".
[120]Неточная цитата из стих. "Разгораются тайные знаки..." (1902).
[121]Неточность: стих. "Гамаюн, птица вещая" датировано февралем 1899 г.
[122]Неточная цитата из стих. "Фабрика" (1903).
[123]Заключительные строки стих. "На Вас было черное закрытое платье" (1905).
[124]Белый цитирует Блока по изданию: *Блок Александр*. Стихотворения: В 3 т. Берлин: Слово. 1921.
[125]Первые строфы стих. "Вот он ряд гробовых ступеней" (1904).
[126]Неточно цитированное стих. "Свобода смотрит в синеву" (1902).
[127]"Демон в греческом смысле", как его трактует Р. Штейнер (эту трактовку разделяет и Белый), подобен современному понятию "дух": "Дух действует в человеке. Но он действует в нем особенным образом. Он действует, исходя из временного. В этом особенность человеческой души, что временное действует в ней как вечное, побуждает и борется за вечное. Поэтому душа одновременно подобна и Богу, и червю, и через это человек стоит между Богом и животным. Это стремящееся и борющееся в нем есть его демоническое. Это то, что рвется наружу в нем и из него. Поразительно указал на это Гераклит: "Демон человека — судьба его" (*Штейнер Рудольф*. Христианство как мистический факт и мистерии древности. С. 37).
[128]Из стих. "Дали слепы, дни безгневны..." (1904).
[129]Ходасевич Владислав Фелицианович (1886—1939) — поэт, критик, историк литературы, мемуарист, один из представителей того литературного поколения, что пришло следом за символистами и самоопределялось по отношению к наследию символистов. "Годы полемики", как определял Андрей Белый 1907—1910 гг., стали годами дружбы с Ходасевичем. Совместная работа в "Золотом руне", в брюсовских "Весах" и "Перевале", интенсивные занятия ритмом русского стиха — все это не могло не способствовать сближению обоих поэтов. Новая встреча — в Москве и Петрограде времен военного коммунизма, наконец, "русский Берлин" 1922—1923 гг., чуть ли не ежедневное общение Белого и Ходасевича, зафиксированное и в мемуарах последнего "Некрополь", и в книге Н. Берберовой "Курсив мой". Свидетельства этой дружбы — две статьи Белого о стихах Ходасевича: "Рембрандтова правда

софов, публицистов, близкой к левоэсеровским кругам и воспринимавшей революцию как "новое вознесение духа", "духовное преображение".

[27]Персонаж "Балаганчика": здесь и дальше — аллюзии Белого на мотивы пьесы А. Блока.

[28]О восторженном отношении С. Соловьева к творчеству Брюсова в то время свидетельствуют два его стихотворения, написанные в январе 1905 г. и посвященные Брюсову (см.: *Соловьев С.* Цветы и ладан. М., 1907. С. 65—67).

[29]Подразумевается увлечение К. Бальмонта Испанией и испанскими мотивами.

[30]В финале "Балаганчика" один из его трех главных персонажей, Арлекин, прыгает в окно, за которым видится даль, нарисованная на бумаге; бумага лопается.

[31]Герой пьесы Г. Ибсена "Габриэль Боркман" (1896).

[32]Строфы стих. "Потеха! Рокочет труба..." (июль 1905).

[33]Речь идет о стих. "Моей матери" (июль 1905).

[34]Восставший броненосец "Потемкин" ушел 18 июня 1905 г. в порт Констанцу, а 25 июня сдался румынским властям.

[35]Ныне — Рижская железная дорога.

[36]Стих. "Невидимка" ("Веселье в ночном кабаке...") датировано 16 апреля 1905 г. (впервые опубл. в альманахе "Белые ночи" в 1907 г.).

[37]Неточная цитата из "Вступления" к поэме "Ночная фиалка".

[38]В письме от 2 октября 1905 г. Блок отправил Белому двадцать своих стихотворений, написанных в 1903—1905 гг. В ответном письме от 13 октября, признавая достоинства присланных стихов, Белый, однако, предостерегает: "Вот теперь я скажу о Твоих стихах. Над ними стоит туман несказанного, но они полны "скобок" и двусмысленных умалчиваний, выдаваемых порой за тайны ‹...› Я говорю Тебе, как облеченный ответственностью за чистоту одной Тайны, которую Ты предаешь или собираешься предать. Я Тебя предостерегаю — куда Ты идешь? Опомнись! Или брось, забудь *Тайну*. Нельзя быть одновременно и с богом, и с чертом" (Переписка. С. 157).

[39]27 октября 1905 г. Л. Д. Блок писала Белому: "Я не хочу получать больше Ваших писем до тех пор, пока Вы не искупите своей лжи Вашего письма к Саше ‹...› Поймите, что тон превосходства, с которым Вы к нему обращаетесь, для меня невыносим ‹...› Меня признаете, его вычеркиваете — в этом нет правды" (ЛН Кн. 3. С. 231).

[40]Челноков Михаил Васильевич (1868—1935) — один из лидеров партии кадетов, в 1914—1917 гг. — городской голова Москвы.

[41]Трепов Дмитрий Федорович (1855—1906) — петербургский генерал-губернатор, с апреля 1905 г. — товарищ министра внутренних дел, организатор вооруженного подавления революции 1905 г. Получил всероссийскую известность благодаря приказу "холостых залпов не давать и патронов не жалеть".

[42]Имеется в виду владелец табачной фабрики "Дукат" Н. Д. Пигит.

[43]3 октября 1905 г. началась стачка рабочих Московско-Казанской железной дороги, которая охватила все предприятия Москвы, а затем переросла во Всероссийскую политическую стачку, продолжавшуюся до 22 октября.

[44]17 октября 1905 г. был обнародован царский указ о предоставлении политических свобод.

[45]Большевик Николай Эрнестович Бауман (1873—1905) был убит 18 октября черносотенцем Михалиным. Его похороны 20 октября, в которых участвовал Белый, вылились в мощную политическую демонстрацию.

[46]Тургенева Анна Алексеевна (Ася, 1890—1966) — первая жена Белого, художница. Племянница Олениной-д'Альгейм.

[47]Тургенева Наталья Алексеевна (1886—1942) — сестра А. А. Тургеневой. Первую встречу с Асей и Наташей Тургеневыми Белый датирует ноябрем 1905 г. (Ракурс к дневнику. Л. 31).

[48]В Петербург Белый приехал 1 декабря.

[49]1 декабря 1905 г. Белый писал Блоку: "*Непременно* буду ждать сегодня пить чай в ресторане Палкина в 8 часов (На Невском. Буду в главном зале)" (Переписка. С. 161).

[50]Вращающийся дервиш *(фр.)*.

[51]Первая строфа стих. "Нежный! У ласковой речки..." (1904).

[52]Итальянская позднеренессансная "Комедия масок", импровизированное театральное представление, форму которого использовал Блок, работая над пьесой "Балаганчик".

[53]Статья написана в 1903 г., впервые опубликована в "Мире искусства" (1904. № 5).

[54]Статья написана в 1908 г., опубликована в кн. Арабески.

[55]Статья опубликована в кн. Арабески.

[56]Впервые опубликована: Весы. 1908. № 7—9. Позднее вошла в состав Арабесок.

[57]Впервые опубликована: Весы. 1906. № 7. Позднее вошла в Арабески.

[58]Герой немецкого средневекового рыцарского эпоса "Песни о Нибелунгах", на основе которого Р. Вагнером была создана тетралогия "Кольцо Нибелунгов". Третья часть тетралогии — "Зигфрид" (1869).

[59]Неточно цитированная первая строфа стих. "О, весна без конца и без краю...", входящего в цикл "Заклятие огнем и мраком" (1908).

[60]Отрочество и юность Блока проходят под знаком увлечения театром. Начиная с 1896 г. он организует любительские спектакли в Шахматове, а в июле—августе 1898 г. вместе с Л. Д. Менделеевой участвует в представлении сцен из "Гамлета".

[61]Ершов Иван Васильевич (1867—1943) — оперный певец, драматический тенор. Солист Мариинского оперного театра, профессор Петербургской консерватории.

[62]Вторая часть вагнеровской тетралогии "Кольцо Нибелунгов", написанная в 1856 г.

[63]Верховный бог в мифологии древних германцев, обладающий могуществом колдуна, мудреца; бог войны, хозяин Вальхаллы (дворца, куда попадают павшие в бою воины).

[64]В скандинавской мифологии валькирии — воинственные девы, решающие по воле бога Одина исход сражения и уносящие героев в Вальхаллу.

[65]Савинков Борис Викторович (псевдоним — В. Ропшин, 1879—1925) — прозаик, поэт. Один из лидеров партии социалистов-революционеров, член ее боевой организации. Савинков был одним из прототипов героя романа "Петербург" — террориста Дудкина.

[66]Ремизов Алексей Михайлович (1877—1957) — писатель, сыгравший крупную роль в развитии русской орнаментальной прозы. Белому принадлежит рецензия на ремизовский роман "Пруд" (Весы. 1907. № 12). С Савинковым Ремизов сблизился в Вологде, где оба отбывали ссылку в 1902—1903 гг.

[67]Ремизова (урожд. Довгелло) Серафима Павловна (1876—1943) — жена А. М. Ремизова.

[68]19 декабря 1905 г. Л. С. Бакст писал А. Н. Бенуа о Белом: "...я набросал на днях его портрет цвет[ными] карандашами" (*Пружан И. Н.* Лев Самойлович Бакст. Л., 1975. С. 88).

[69]4 марта 1906 г. Белый пишет матери из Петербурга: "...с завтрашнего дня меня опять пишет Бакст во весь рост для *"Золотого руна"* (РГАЛИ, ф. 53, оп. I, ед. хр. 358). Подробнее см.: *Гречишкин С. С., Лавров А. В.* Неизданная статья Андрея Белого "Бакст"//Памятники культуры. Новые открытия. Ежегодник. 1978.

[70]Строки из стих. "Царица смотрела заставки...".

[71]Заключительная строфа стих. "Я искал голубую дорогу..." (1902).

[72]Заключительная строфа стих. "Мы живем в старинной келье..." (1902).

[73]Строфы из стих. "Ночь" (1904).

[74]Имеется в виду Иван Дмитриевич Менделеев (1883—1936) — физик и философ. Сын Д. И. Менделеева.

[75]Городецкий Сергей Митрофанович (1884—1967) — поэт, прозаик, критик, во время описанной встречи — студент историко-филологического факультета Петербургского университета. Первой публикацией Городецкого было стих. "Зной", полностью приведенное в статье Блока "Краски и слова" (Золотое руно. 1906. № 1).

[76]Пяст (наст. фам. Пестовский) Владимир Алексеевич (1886—1940) — поэт, переводчик, стиховед, мемуарист.

[77]Гиппиус Александр Васильевич (ум. 1942) — юрист, поэт-дилетант (псевдоним А. Надеждин), товарищ по университету и один из ближайших друзей молодого Блока.

[78]Знакомство Блока с Вяч. Ивановым произошло в январе 1905 г.

[79]Таврический дворец был построен в конце XVIII в. архитектором Н. Е. Старовым для князя Г. А. Потемкина-Таврического. В 1906 г. передан для заседаний Государственной Думе.

[80]Зиновьева-Аннибал (урожд. Зиновьева) Лидия Дмитриевна (1866—1907) — прозаик, драматург. Жена Вяч. Иванова.

[81]Вяч. Иванов учился во второй половине 80-х годов в Берлинском университете и представил в 1895 г. диссертацию о государственных откупах в Риме, которая была защищена там же. За границей Иванов постоянно жил до марта 1904 г.

[82]То есть возрождения Элевсинских мистерий.

[83]Имеется в виду Безобразов Павел Владимирович (1859—1918) — историк-византинистолог, автор исторических романов. Муж сестры Вл. С. и М. С. Соловьевых.

[84]Бердяева (урожд. Рапп) Лидия Юдифовна (1889—1945) — жена Н. А. Бердяева.

[85]Заключительные строки стих. "Влюбленность" ("Королевна жила на высокой горе...").

[86]Впервые опубликована: Весы. 1905. № 12; вошла в А р а б е с к и .

[87]Впервые опубликована: Весы. 1905. № 12 (под заглавием "На перевале"); включена в А р а б е с к и .

[88]Д. С. Мережковский и З. Н. Гиппиус покинули Петроград в конце 1919 г. под предлогом чтения лекций в красноармейских частях. В январе 1920 г. они нелегально перешли польскую границу и вскоре оказались в Варшаве.

[89]Бурцев Владимир Львович (1862—1942) — публицист, мемуарист, издатель журн. "Былое", разоблачивший многих провокаторов царской охранки.

[90]Возник в Москве (при непосредственном участии А. Белого) в январе 1919 г. и просуществовал до 1921 г. Он учреждался с целью консолидации сил творческой интеллигенции. Здесь, во Дворце искусств, Белый жил летом 1920 г. Этот дом на Поварской улице описан в "Войне и мире" Л. Толстого как дом графа Ростова.

[91]Имеется в виду Русское антропософское общество, в работе которого Белый принимал деятельное участие в 1918—1920 гг. (см.: Андрей Белый и антропософия//Минувшее. Вып. 9. Paris, 1990. С. 473—476).

[92]Пилсудский Юзеф (1867—1935) — маршал, деятель правого крыла Польской социалистической партии, глава польского государства в 1919—1922 гг.; в 1926—1928 гг. и 1930 г. — премьер-министр; в 1920 г. — руководитель военных действий против России. Мережковский, с самого начала видевший спасение от большевизма в иностранной интервенции, всячески поддерживал польскую войну с Россией. "Общество Русско-Польского сближения, газета "Свобода"... аудиенция Мережковскому у Пилсудского. Формирование русских отрядов при польских войсках — таковы главные фазы политической деятельности Мережковских в Варшаве в 1920 г.", — отмечено в книге Глеба Струве "Русская литература в изгнании" (Paris, 1984. С. 86).

[93]В эмигрантских изданиях Польши, Болгарии, Франции З. Гиппиус выступила сразу же после бегства из России с целой серией гневно-разоблачительных статей на политико-литературные темы, а в 1921 г. напечатала уцелевшие части своего "Петербургского дневника" 1919 г., где, в частности, дала уничтожающую характеристику писателей, оставшихся на родине и готовых сотрудничать с новой властью.

[94]Имеется в виду роман Д. Мережковского "Антихрист. Петр и Алексей" — третья, заключительная часть трилогии "Христос и Антихрист".

ГЛАВА ШЕСТАЯ

[1]Кроме ранее упомянутого М. Н. Сизова (см. ком. 256 к главе 1) здесь говорится также о его брате Сизове Николае Ивановиче (1886—1962) — композиторе, пианисте, педагоге, дирижере.

[2]Малафеев Николай Михайлович — студент Московского университета, позднее — врач.

[3]Имеются в виду меблированные комнаты "Бель-Вю" на углу Караванной улицы и Невского проспекта.

[4]Под названием "Трилогия" (1906) опубликована в Арабесках. Ср. более сдержанную оценку трилогии в статье "Трилогия Мережковского", опубликованной в Весах (1908. № 1) и вошедшей в книгу "Луг зеленый" (М.: Альциона, 1910).

[5]Илларион — митрополит Киевский с 1051 г., церковно-политический деятель, оратор, писатель. Самое знаменитое его сочинение — "Слово о законе и благодати".

[6]Имеется в виду торжественный обед, устроенный Н. П. Рябушинским 3 января 1906 г. по поводу выхода в свет первого номера издаваемого им журнала "Золотое руно".

[7]Поэма Мережковского "Старинные октавы" была опубликована в № 1—4 "Золотого руна" за 1906 г.

[8]Чтение "Балаганчика" состоялось 25 февраля 1906 г.

[9]Отмечая в статье "Смысл любви" (1892), что "связь активного человеческого начала... с всеединою идеею должна быть живым "сизигическим" отношением", Вл. Соловьев делает сноску: "От сизигия (греч.) — сочетание. Я принужден ввести это новое выражение, не находя в существующей терминологии другого, лучшего" (*Соловьев В. С.* Собр. соч.: В 8 т. Спб., 1903. Т. 6. С. 545).

[10]Ср. в авторском предисловии к сборнику: "Нечаянная радость" — это мой образ грядущего мира. В семи отделах я раскрываю семь стран души моей книги... Над миром, где всегда дует ветер, где ничего не различить сквозь слезы, которыми он застилает глаза, — Осень встает высокая и широкая. Раскидывается над топью болот и золотою короной лесов упирается в синее небо. Тогда понятно, как высоко небо, как широка земля, как глубоки моря и как свободна душа. Нечаянная Радость близка" (Собр. соч. Т. 2. С. 369).

[11]Плотин (204/205—270) — греческий философ, основатель неоплатонизма. Его учение о мировой душе, о Едином, находящемся "за пределами сущности", оказало огромное влияние на последующее развитие философии, поэзии, в том числе русских символистов.

[12]Шеллинг Фридрих Вильгельм Йозеф (1775—1854) — немецкий философ и теоретик искусства, представитель классического идеализма. Опираясь на традиции неоплатонизма, на эстетическое учение Шиллера и романтиков, развил учение о художественном творчестве как "равновесии" природы и свободы, единственном пути достижения "бесконечности".

[13]Имеется в виду сочинение Шеллинга "О мировой душе" (1798), относящееся к первому, так называемому "натурфилософскому" периоду творчества философа.

[14]Из стих. "На весеннем пути в теремок" (1905).

[15]Строки из стих. "Болотный попик" (1905).

[16]Аллюзия на строки из стих. "Старушка и чертенята" (1905):

Ты прости нас, старушка ты божия,
Не бери нас в Святые Места!
Мы и здесь лобызаем подножия
Своего, полевого Христа.

[17]"*Прелесть* — что обольщает в высшей мере; обольщенье, обаянье; мана, морока, обман, соблазн; совращенье от злого духа" (*Даль В.* Толковый словарь... Т. III. С. 393).

[18]Из стих. "Мы прошли — и воды синие..." (1906).

[19]См.: Собр. соч. Т. 2. С. 370. Вспоминая о детстве Блока, его тетя и биограф М. А. Бекетова писала: "Его увлечения поглощали его целиком. Между прочим — корабли. Он рисовал корабли во всех видах, одни корабли, без человеческих фигур, развешивал их по стенам детской, дарил родным и т. д. Исключительное отношение к кораблям осталось у него на всю жизнь" (С. 35).

[20]Строки из стих. "Осенняя вода" (1905).

[21]Обыгрывается созвучие: Дмитриевна — Деметровна (от Деметра).

[22]Цитируется стих. "Милый брат! Завечерело..." (январь 1906). Датировка Белого неточна.

[23]Кранах Лукас Старший (1472—1553) — немецкий живописец и график.

[79]Таврический дворец был построен в конце XVIII в. архитектором Н. Е. Старовым для князя Г. А. Потемкина-Таврического. В 1906 г. передан для заседаний Государственной Думе.

[80]Зиновьева-Аннибал (урожд. Зиновьева) Лидия Дмитриевна (1866—1907) — прозаик, драматург. Жена Вяч. Иванова.

[81]Вяч. Иванов учился во второй половине 80-х годов в Берлинском университете и представил в 1895 г. диссертацию о государственных откупах в Риме, которая была защищена там же. За границей Иванов постоянно жил до марта 1904 г.

[82]То есть возрождения Элевсинских мистерий.

[83]Имеется в виду Безобразов Павел Владимирович (1859—1918) — историк-византистолог, автор исторических романов. Муж сестры Вл. С. и М. С. Соловьевых.

[84]Бердяева (урожд. Рапп) Лидия Юдифовна (1889—1945) — жена Н. А. Бердяева.

[85]Заключительные строки стих. "Влюбленность" ("Королевна жила на высокой горе...").

[86]Впервые опубликована: Весы. 1905. № 12; вошла в А р а б е с к и .

[87]Впервые опубликована: Весы. 1905. № 12 (под заглавием "На перевале"); включена в А р а б е с к и .

[88]Д. С. Мережковский и З. Н. Гиппиус покинули Петроград в конце 1919 г. под предлогом чтения лекций в красноармейских частях. В январе 1920 г. они нелегально перешли польскую границу и вскоре оказались в Варшаве.

[89]Бурцев Владимир Львович (1862—1942) — публицист, мемуарист, издатель журн. "Былое", разоблачивший многих провокаторов царской охранки.

[90]Возник в Москве (при непосредственном участии А. Белого) в январе 1919 г. и просуществовал до 1921 г. Он учреждался с целью консолидации сил творческой интеллигенции. Здесь, во Дворце искусств, Белый жил летом 1920 г. Этот дом на Поварской улице описан в "Войне и мире" Л. Толстого как дом графа Ростова.

[91]Имеется в виду Русское антропософское общество, в работе которого Белый принимал деятельное участие в 1918—1920 гг. (см.: Андрей Белый и антропософия//Минувшее. Вып. 9. Paris, 1990. С. 473—476).

[92]Пилсудский Юзеф (1867—1935) — маршал, деятель правого крыла Польской социалистической партии, глава польского государства в 1919—1922 гг.; в 1926—1928 гг. и 1930 г. — премьер-министр; в 1920 г. — руководитель военных действий против России. Мережковский, с самого начала видевший спасение от большевизма в иностранной интервенции, всячески поддерживал польскую войну с Россией. "Общество Русско-Польского сближения, газета "Свобода"... аудиенция Мережковскому у Пилсудского. Формирование русских отрядов при польских войсках — таковы главные фазы политической деятельности Мережковских в Варшаве в 1920 г.", — отмечено в книге Глеба Струве "Русская литература в изгнании" (Paris, 1984. С. 86).

[93]В эмигрантских изданиях Польши, Болгарии, Франции З. Гиппиус выступила сразу же после бегства из России с целой серией гневно-разоблачительных статей на политико-литературные темы, а в 1921 г. напечатала уцелевшие части своего "Петербургского дневника" 1919 г., где, в частности, дала уничтожающую характеристику писателей, оставшихся на родине и готовых сотрудничать с новой властью.

[94]Имеется в виду роман Д. Мережковского "Антихрист. Петр и Алексей" — третья, заключительная часть трилогии "Христос и Антихрист".

ГЛАВА ШЕСТАЯ

[1]Кроме ранее упомянутого М. Н. Сизова (см. ком. 256 к главе 1) здесь говорится также о его брате Сизове Николае Ивановиче (1886—1962) — композиторе, пианисте, педагоге, дирижере.

[2]Малафеев Николай Михайлович — студент Московского университета, позднее — врач.

[3]Имеются в виду меблированные комнаты "Бель-Вю" на углу Караванной улицы и Невского проспекта.

[4]Под названием "Трилогия" (1906) опубликована в Арабесках. Ср. более сдержанную оценку трилогии в статье "Трилогия Мережковского", опубликованной в Весах (1908. № 1) и вошедшей в книгу "Луг зеленый" (М.: Альциона, 1910).

[5]Илларион — митрополит Киевский с 1051 г., церковно-политический деятель, оратор, писатель. Самое знаменитое его сочинение — "Слово о законе и благодати".

[6]Имеется в виду торжественный обед, устроенный Н. П. Рябушинским 3 января 1906 г. по поводу выхода в свет первого номера издаваемого им журнала "Золотое руно".

[7]Поэма Мережковского "Старинные октавы" была опубликована в № 1—4 "Золотого руна" за 1906 г.

[8]Чтение "Балаганчика" состоялось 25 февраля 1906 г.

[9]Отмечая в статье "Смысл любви" (1892), что "связь активного человеческого начала... с всеединою идеею должна быть живым "сизигическим" отношением", Вл. Соловьев делает сноску: "От сизигия (греч.) — сочетание. Я принужден ввести это новое выражение, не находя в существующей терминологии другого, лучшего" (*Соловьев В. С.* Собр. соч.: В 8 т. Спб., 1903. Т. 6. С. 545).

[10]Ср. в авторском предисловии к сборнику: "Нечаянная радость" — это мой образ грядущего мира. В семи отделах я раскрываю семь стран души моей книги... Над миром, где всегда дует ветер, где ничего не различить сквозь слезы, которыми он застилает глаза, — Осень встает высокая и широкая. Раскидывается над топью болот и золотою короной лесов упирается в синее небо. Тогда понятно, как высоко небо, как широка земля, как глубоки моря и как свободна душа. Нечаянная Радость близка" (Собр. соч. Т. 2. С. 369).

[11]Плотин (204/205—270) — греческий философ, основатель неоплатонизма. Его учение о мировой душе, о Едином, находящемся "за пределами сущности", оказало огромное влияние на последующее развитие философии, поэзии, в том числе русских символистов.

[12]Шеллинг Фридрих Вильгельм Йозеф (1775—1854) — немецкий философ и теоретик искусства, представитель классического идеализма. Опираясь на традиции неоплатонизма, на эстетическое учение Шиллера и романтиков, развил учение о художественном творчестве как "равновесии" природы и свободы, единственном пути достижения "бесконечности".

[13]Имеется в виду сочинение Шеллинга "О мировой душе" (1798), относящееся к первому, так называемому "натурфилософскому" периоду творчества философа.

[14]Из стих. "На весеннем пути в теремок" (1905).

[15]Строки из стих. "Болотный попик" (1905).

[16]Аллюзия на строки из стих. "Старушка и чертенята" (1905):

Ты прости нас, старушка ты божия,
Не бери нас в Святые Места!
Мы и здесь лобызаем подножия
Своего, полевого Христа.

[17]"*Прелесть* — что обольщает в высшей мере; обольщенье, обаянье; мана, морока, обман, соблазн; совращенье от злого духа" (*Даль В.* Толковый словарь... Т. III. С. 393).

[18]Из стих. "Мы прошли — и воды синие..." (1906).

[19]См.: Собр. соч. Т. 2. С. 370. Вспоминая о детстве Блока, его тетя и биограф М. А. Бекетова писала: "Его увлечения поглощали его целиком. Между прочим — корабли. Он рисовал корабли во всех видах, одни корабли, без человеческих фигур, развешивал их по стенам детской, дарил родным и т. д. Исключительное отношение к кораблям осталось у него на всю жизнь" (С. 35).

[20]Строки из стих. "Осенняя вода" (1905).

[21]Обыгрывается созвучие: Дмитриевна — Деметровна (от Деметра).

[22]Цитируется стих. "Милый брат! Завечерело..." (январь 1906). Датировка Белого неточна.

[23]Кранах Лукас Старший (1472—1553) — немецкий живописец и график.

[24]Древнегреческие терракотовые статуэтки, найденные в погребениях близ Танагры.

[25]Ироническое обыгрывание теорий Вяч. Иванова о современной мистерии. Козловод — один из главных участников Элевсинских мистерий.

[26]Письмо Блока о Канте датировано 20 ноября 1903 г. (Переписка. С. 66—69).

[27]Из стих. "Свобода смотрит в синеву..." (1902).

[28]Из стих. "Болотные чертенята".

[29]Первая строфа стих. "Ты оденешь меня в серебро..." (1904).

[30]Из стих. "Лазурью бледной месяц плыл..." (1906).

[31]Строка из стих. Мережковского "Дети ночи" (1894).

[32]Заключительные строки стих. "Насмешница" (1907).

[33]Пирожков Михаил Васильевич (1867—1926 или 1927) — глава издательства, в котором публиковались многие сочинения Мережковского.

[34]Мережковские уехали за границу 25 февраля 1906 г. и прожили в Париже более двух лет.

[35]После взаимного объяснения в любви с Л. Д. Блок, происшедшего 26 февраля, 5 или 6 марта Белый уезжает в Москву.

[36]Речь идет о циклах лекций Штейнера, прочитанных в разных городах и странах Европы. Белый, будучи за границей, был усердным слушателем этих лекций, следовал за Доктором из страны в страну.

[37]Р. Штейнером были выделены шесть качеств (мыслительный контроль, волевой контроль, хладнокровие, положительность, непредвзятость, внутреннее равновесие), опираясь на которые — путем соответствующих упражнений — можно развить сверхчувственные органы восприятия (см.: *Штейнер Рудольф*. Очерк тайноведения. Ереван, 1992).

[38]Имеется в виду английский теософ Чарльз У. Лидбитер (у Белого: Ледбитер) — сподвижник Анны Безант, автор многочисленных популяризаторских трудов по теософии.

[39]"Здесь — заповедность

Истины всей". (Пер. с нем. Б. Пастернака.)

[40]Хор мистиков (др.-греч.) — коллективный персонаж "Балаганчика".

[41]Комплекс пластических упражнений, разработанных в антропософии и имевших целью совершенствование личности.

[42]Излюбленный русскими символистами стихотворный размер: трехдольная стопа с акцентированным слогом посредине. Из приведенного контекста, однако, очевидно, что Белый имеет в виду не просто размеры стиха, но ритмы человеческого поведения. Ср. О Блоке: "щит против quasi-искусственности декадентов в молодом Блоке несомненно отображался в стиле себя держать, в стиле, продиктованном ему не головой, а естественным "тактом", то есть ритмом, оформленном в ему свойственные ритмические формы. Его поэзия того времени, развив свои ямбы, начала развивать свой великолепный анапест" (с. 235).

[43]Двухдольная стопа с ударением на втором слоге. Теория четырехстопного ямба — излюбленного размера русской поэзии — получила разработку в трудах Белого "Опыт характеристики русского четырехстопного ямба" и "Сравнительная морфология ритма русских лириков в ямбическом диметре" (они опубликованы в книге статей Символизм), а также в исследовании "Ритм как диалектика и "Медный всадник" (М., 1929).

[44]Строки из стих. "Матери", написанного в Париже в январе 1907 г. после выхода из больницы.

[45]Имеются в виду сочинения Р. Штейнера "Как достигнуть познания высших миров?" (1905) и "Статьи о трехчленности социального организма" (1921).

[46]В гностической космогонии — "полнота абсолютного бытия" (См.: *Соловьев В.* Соч.: В 2 т. М., 1989. Т. 1. С. 137).

[47]Эти, как и предыдущие процитированные Белым строки, — из стих. Блока "Взморье" (1904).

[48]Из стих. "У моря" (1905).

[49]Речь идет о рассказе "В море" (1883).

[50]Аллюзия на стих. Блока "Поэт" (1905); см. ком. 51 к гл. 3.

[51]В Материале к биографии, носившем интимный характер и не предназначенном для публикации, содержание этого разговора, равно как и обстоятельства, ему предшествовавшие, описаны с большей степенью откровенности: "Л. Д. мне объясняет, что А. А. ей не муж; они не живут, как муж и жена; она его любит братски, а меня — подлинно; всеми эти[ми] объяснениями она внушает мне мысль, что я должен ее развести с А. А. и на ней жениться; я предлагаю ей это; она — колеблется, предлагая, в свою очередь, мне нечто вроде en trois, что мне несимпатично; мы имеем разговор с Ал. Ал. и ею, где ставим вопрос, как нам быть; Ал. Ал. — молчит, уклоняясь от решительного ответа, но как бы дает нам с Л. Д. свободу" (Л. 52 об.).

[52]Из цикла "Ее прибытие" (1904): "5. Корабли идут".

[53]"Ворон влачится за нами из города" (нем.) — из "Фауста" Гете.

[54]Герой трагедии Шиллера "Дон Карлос" (1783—1787).

[55]Штирнер Макс (наст. имя и фам. Каспар Шмидт) (1806—1856) — немецкий философ-младогегельянец, теоретик анархизма.

[56]Имеется в виду "Симфония (2-я, драматическая)".

[57]Каляев Иван Платонович (1877—1905) — эсер-террорист, член "боевой организации". 4 февраля 1905 г. убил московского генерал-губернатора великого князя Сергея Александровича. Повешен.

[58]Фафнер (Фафнир) — в скандинавской мифологии в эпосе — дракон, стерегущий клад.

[59]6 апреля Блок писал Белому: "Не приезжай пока ни в коем случае. Я тебе напишу, когда. Люба лежит, ей надо совсем не говорить и быть как можно спокойнее. Она просто простудилась и бронхит. У меня самый трудный экзамен" (Переписка. С. 175).

[60]Белый приехал в Петербург 15 апреля 1906 г. и пробыл там до середины мая.

[61]Гюнтер Иоганнес фон (1886—1973) — немецкий поэт, переводчик.

[62]Имеется в виду латышский поэт Вальдемар Дамбергс (1860—1960). См.: Письма В. Дамбергса к Блоку // Л Н. Кн. 4.

[63]Стих. "Клеопатра" ("Открыт паноптикум печальный..."), датированное декабрем 1907 г., было опубликовано в альманахе "Шиповник" (1908). В своих воспоминаниях о Блоке К. Чуковский рассказывает: "Я помню, что тот "паноптикум печальный" находился на Невском, в доме № 86, близ Литейного, и что сорок лет назад, в декабре я увидел там Александра Александровича и меня удивило, как понуро и мрачно он стоит возле восковой полулежащей царицы с узенькой змейкой в руке — с черной резиновой змейкой, которая, подчиняясь незамысловатой пружинке, снова и снова тысячу раз подряд жалит ее голую грудь к удовольствию каких-то похабных картузников. Блок смотрел на нее оцепенело и скорбно" (*Чуковский К. И.* Из воспоминаний. М., 1959. С. 969—970).

[64]Строфа из стих. "К музе" (1912).

[65]Аничков Евгений Васильевич (1866—1937) — историк литературы, фольклорист, критик.

[66]Имеется в виду книга "О мистическом анархизме" (см. комм. 22 к гл. 2).

[67]Эрберг Константин (наст. имя и фам. Константин Александрович Сюннерберг) (1871—1942) — теоретик искусства, критик, поэт.

[68]Габрилович (псевд. — Галич) Леонид Евгеньевич (1878—1953) — публицист, физик, приват-доцент Петербургского университета.

[69]Билибин Иван Яковлевич (1876—1942) — график и театральный художник. Член "Мира искусств".

[70]Бенуа Александр Николаевич (1870—1960) — художник, историк искусства, художественный критик и мемуарист. Идеолог "Мира искусств".

[71]Добужинский Мстислав Валерианович (1875—1957) — график и театральный художник. Член "Мира искусств".

[171]В 1537 г. Лукас Кранах Старший (см. ком. 23 к наст. гл.) передал свою живописную мастерскую сыну-художнику Лукасу Кранаху Младшему (1515—1586).

[172]Вольгемут Михаель (1434—1519) — немецкий живописец и резчик по дереву, учитель Дюрера.

[173]Шенгауэр Мартин (ок. 1445—1491) — немецкий живописец и график.

[174]Клингер Макс (1875—1920) — немецкий живописец, график и скульптор.

[175]Бёклин Арнольд (1827—1901) — швейцарский живописец, представитель символизма и стиля модерн. В фантастических сценах сочетал символику с натурализмом.

[176]Штук Франц фон (1863—1928) — немецкий живописец, скульптор и график, представитель стиля модерн.

[177]Это состояние следующим образом характеризуется в Между двух революций: "...в Мюнхене видел себя заключенным, как заживо — в гробе" (С. 127). О причинах подобного состояния см. там же, с. 125—127.

[178]Переезд Белого из Мюнхена в Париж датируется 30 ноября — 1 декабря.

[179]Неточность: Белый общался в Париже с Рудольфом Буксгевденом, а его отец, барон Отто Оттович Буксгевден был застрелен в Петербурге в 1907 г. братом Рудольфа Эдгаром. Шведский исследователь М. Юнгрем высказал оправданное предположение, что фамилия Буксгевден подсказала Белому фамилию одного из персонажей романа "Петербург", Вергсфедена, — романа, в котором интенсивно разрабатывается мотив отцеубийства (см.: *Ljunggren Magnus.* The Dream of Rebirth. Stockholm, 1982. P. 142—143).

[180]Манасевич-Мануйлов Иван Федорович (1869—1918) — журналист, чиновник департамента полиции.

[181]Ратькова-Рожнова (урожд. Философова) Зинаида Владимировна (1871—1966) — сестра Д. В. Философова.

[182]Жорес Жан (1859—1914) — руководитель Французской социалистической партии, с 1905 г. — ее правого крыла. Основатель газеты "Юманите". Публицист, оратор, историк Великой французской революции и социалистического движения. Страстный борец против колониализма, милитаризма и войны. Убит французским шовинистом 31 июля 1914 г., в канун 1-й мировой войны.

[183]По гостевому столу (фр.).

[184]"Юманите" ("Человечество" — фр.) — ежедневная газета, основанная Жоресом в 1904 г. В 1904—1920 гг. — орган социалистической партии. С 1920 г. — центральный орган Французской коммунистической партии.

[185]"Итак, вы — думаете..." (фр.).

[186]Ср. свидетельство Мережковского — собеседника Жореса, следующим образом передающего его слова: "В настоящее время в России кадеты — единственная партия, у которой есть чувство реальных политических возможностей. Все, что левее, безумно. Ваши крайние — или фанатики, или мечтатели, живущие в царстве химер. Их геройству нельзя не удивляться. Но удивление смешивается с чувством грусти и, простите, досады. У вас, русских, все — порыв. Вы готовы спрыгнуть в окно и сломать себе шею, вместо того, чтобы спуститься по лестнице. Вы умирать лучше умеете, чем жить..." (*Мережковский Д. С.* Полн. собр. соч. М., 1914. Т. XVI. С. 69).

[187]Аладьин Алексей Федорович (1873—?) — политический деятель, трудовик, делегат от крестьянской курии в I Государственной Думе. В 1917 г. — участник корниловского заговора. Входил в Крымское правительство генерала П. Н. Врангеля. Будучи в эмиграции, вел активную антисоветскую деятельность.

[188]Молодой человек (фр.).

[189]Политическая партия. Во французском языке слово "партия" — мужского рода и требует артикля мужского рода "le".

[190]Клемансо Жорж (1841—1929) — французский политический деятель, в 1880—1890-е годы лидер радикалов. Премьер-министр Франции в 1906—1909, 1917—1920 гг. Председатель Парижской мирной конференции 1919—1920 гг.

[191]В 1881—1883 гг. Жорес работал преподавателем философии в лицее Альби (департамент Тари), а с 1883 г. — в Тулузском университете.

[192]Ренувье Шарль (1815—1903) — французский философ, глава так называемого неокритицизма.

[193]Глава позднее была написана и вошла в книгу Между двух революций (С. 135—153).

[194]"Кролик" (фр.).

[195]Подразумевается хирургическая операция, перенесенная Белым.

[196]Из поэмы "Ночная фиалка".

[197]Искаженная цитата из стих. "День был нежно-серый, серый, как тоска" (1903).

[198]Из поэмы "Ночная фиалка".

[199]Расщелина, над которой был воздвигнут храм Аполлона в Дельфах. Вдыхая выходящие из нее испарения (газы вулканического происхождения), жрица-прорицательница, жившая в храме, — пифия погружалась в экстатический транс и начинала вещать о будущем.

[200]Двустишие из трагедии Шекспира "Макбет", взятое в качестве эпиграфа к разделу "Пузыри земли" 2-го тома стихотворений Блока.

[201]Персонаж стих. "Шаги командора" (1910—1912).

[202]"Сэр" фигурирует в стих. "Осенний вечер был под звук дождя стеклянный..." (1912).

[203]Неоконченная поэма Блока, над которой он работал в общей сложности (со значительными перерывами) с 1910 по 1921 г. Первоначальный замысел поэмы возник под впечатлением смерти отца в Варшаве в 1910 г. Но постепенно он расширялся и перестраивался. "Тема, — писал Блок в предисловии к поэме, — заключается в том, как развиваются звенья единой цепи рода... Род, испытавший на себе возмездие истории, среды, эпохи, начинает, в свою очередь, творить возмездие; последний первенец уже способен огрызаться и издавать львиное рычание; он готов ухватиться своей человеческой ручонкой за колесо, которым движется история человечества. И, может быть, ухватится-таки за него" (Собр. соч. Т. III. С. 297—298). Эпиграфом к поэме взяты слова Сольнеса — героя драмы Г. Ибсена "Строитель Сольнес": "Юность — это возмездие".

[204]Из стих. "Я живу в глубоком покое" (1904).

[205]Из стих. "Балаган" (1906).

[206]Цикл стихов 1910 г.

[207]Цикл стихов, датированный декабрем 1906 — январем 1907 г., навеян встречей и знакомством с Н. Н. Волоховой. Опубликован отдельной книжкой в петербургском издательстве "Оры" в апреле 1907 г.

[208]Начальная строфа стих. "Мы живем в старинной келье..." (1902).

[209]Заключительная строфа стих. "Ее несли" (1907).

[210]Это, как и предыдущая цитата, — из стих. "Настигнутый метелью" (1907).

[211]Из стих. М. В. Ломоносова "Вечернее размышление о Божием величестве при случае великого северного сияния" (1743).

[212]Из стих. "В октябре" (1906).

[213]Цитата из того же стих.

[214]Языков Николай Михайлович (1803—1846) — поэт-лирик.

[215]Белый под пеоном подразумевал сочетание ямба или хорея с пиррихием (двух смежных безударных слогов). По аналогии с античным пеоном в русском стали различать четыре вида. Третий пеон, о котором идет речь в тексте, характеризуется ударением на третьем слоге стопы с двухдольной анакрузой (безударные слоги в начале стиха до первого метрического акцента, на который обычно приходится ударный слог в стопе).

[216]Трехдольная имитация античного гекзаметра (шестистопного дактиля), введенная в русскую поэзию В. К. Тредиаковским.

[217]Античная шестидольная стопа о четырех слогах, комбинация ямбической и хореической стоп. В русской поэзии встречается редко.

[218]Особый ритмический ход в трехсложном размере, когда в стопе содержится два словесных ударения — на первом и на третьем слогах.

[219]Из стих. "Прочь!" (1907).

[220]Завершающая строфа стих. Вл. Соловьева "На Сайме зимой" (1894).

[221]Из стих. "Прочь!".

[222]Строки из стих. "Настигнутый метелью".

[223]Из стих. "Клеопатра".

[224]Белый цитирует стих. "Снежная вязь" (1907).

[225]Строки из стих. "На зов метелей" (1907).

[226]Из стих. "Обреченный" (1907).

[227]Неточные цитаты из стих. "Бледные сказанья" (1907).

[228]Неточная цитата из того же стих.

[229]Строки из стих. "Неизбежное" (1907).

[230]Цитата из стих. "Они читают стихи" (1907).

[231]Из стих. "Прочь!".

[232]Первая строфа стих. "О, весна без конца и без краю..." (1907), открывающего поэтический цикл "Заклятие огнем и мраком".

[233]Понятие в философии Аристотеля, означающее осуществление какой-либо возможности бытия.

[234]См.: *Соловьев Владимир.* Валентин и валентиане// Энциклопедический словарь. изд. Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона. Спб., 1881. Т. V. Полутом 9. С. 406—407. Валентин (ум. ок. 161 г.) — самый значительный из философов-гностиков.

[235]Термин древнегреческой философии, означающий вечность, время, как некую целостную самозамкнутую структуру. В учении гностиков, оказавших воздействие на теософию и антропософию, утверждается идея иерархического множества эонов как посредников между непостижимым и изначальным верховным богом и материальным миром: 30 эонов составляют выраженную полноту бытия — плерому, которую венчает тридцатый эон — София.

[236]Персонаж гностической мифологии, Спаситель или Утешитель, посланный Христом ради пробуждения сознания в падшей ипостаси Софии — Ахамот, ради возвещения людям истины о небесном бытии.

[237]От греч. pneuma — дыхание, дуновение, дух. В древнегреческой философии — сила, регулирующая дыхание; позднее, особенно в стоицизме, жизненная сила, отождествляемая с логосом — первоогнем; космическое "дыхание", дух; в христианстве — "Святой Дух", третье лицо Троицы.

[238]См.: *Соловьев В. С.* Собр. соч.: В 8 т. Т. 6. С. 545—547.

[239]Строки из стих. "Поэтам" (1890).

[240]В индийской философии — особая мистическая сила, непреложный "закон возмездия" за совокупность поступков, намерений, страданий, определяющий судьбу живого существа в последующих перевоплощениях. Учение о перевоплощении и карме и многие другие мифологемы древнеиндийской философии, брахманизма и индуизма вошли составной частью в антропософское учение.

[241]Согласно антропософскому миропредставлению, Порог — это пограничная черта при вступлении сознания человека в сверхчувственный мир. С этим понятием связано одно из основных понятий антропософии — Страж Порога (см. ком. 83 к гл. 4, а также: *Штейнер Р.* Порог духовного мира. Берлин, 1901. С. 137). Художественное описание Стража Порога дано в романе английского писателя Э. Бульвер-Литтона "Занони".

[242]Цитата из стих. "Свет в окошке шатался..." (1902).

[243]Неточная цитата из стих."Ужасен холод вечеров..." (1902).

[244]Из стих. "Там, в полусумраке собора..." (1902).

[245]Из стих. Вл. Соловьева "Песня офитов" (1876).

[246]Цитата из стих. "Днем вершу я дела суеты..." (1902).

[247]Из стих. "Вот он — ряд гробовых ступеней" (1904).

[248]Искаженная цитата из стих. "Здесь ночь мертва. Слова мои дики..." (1903).

[249]Из того же стих.

[250]Мильтон Джон (1608—1674) — английский поэт и политический деятель. Автор религиозно-философских поэм "Потерянный рай" (1667) и "Возвращенный рай" (1671).

[251]Имеется в виду Л. Н. Толстой (1828—1910), занимавший творческое воображение Белого на протяжении всей его жизни. "Я поклонялся ему, как великому художнику, — писал Белый А. Б. Гольденвейзеру в апреле 1926 г., — я чтил... его как одного из самых больших мудрецов и воистину учителей жизни" (*Белый Андрей*. Стихотворения и поэмы. М.; Л., 1966. С. 612).

[252]Августин Блаженный Аврелий (354—430) — христианский теолог и церковный деятель, один из главных представителей западной патристики, автор "Исповеди" — повествования, предметом которого является авторское самосознание.

[253]Франциск Ассизский (1181 или 1182 — 1226) — итальянский религиозный проповедник, основатель ордена францисканцев.

[254]В антропософии Люцифер и Ариман обозначают два противоположных пути демонического соблазна, которые угрожают личности в стремлении к самопознанию: Люцифер — дух гордыни и "человекобожеского" начала. Ариман — дух разложения и хаоса.

[255]Начальные строки одноименного стих. (1903).

[256]Цитата из стих. "Река раскинулась. Течет, грустит лениво..." (1908), открывающего цикл "На поле Куликовом".

[257]Из стих. "Разгораются тайные знаки..." (1902).

[258]Из стих. "Люблю Тебя, Ангел-Хранитель, во мгле..." (1906).

[259]См. ком. 9 к наст. гл.

[260]Цитаты из стих. "Петр" (1904).

[261]Завершающие строки стих. "Гимн" (1904).

[262]Цитата из стих. "Город в красные пределы..." (1904).

[263]Из того же стих.

[264]Из стих. "Вечность бросила в город..." (1904).

[265]Неточно процитированная строфа из стих. "Последний день" (1904).

[266]Завершающие строки того же стих.

[267]Из стих. "В высь изверженные дымы..." (1904).

[268]Строфа из стих. "Митинг" (1905).

[269]Ср. определение Матерей гетевским Мефистофелем:

Богини высятся в обособленье
От мира, и пространства, и времен.
Предмет глубок, я трудностью стеснен.
То — Матери.
(Пер. с нем. Б. Пастернака)

Миф о Матерях вымышлен Гете, сами образы подсказаны "Жизнеописаниями" Плутарха. В главе "Жизнеописание Марцелло" читаем: "Энгиум — небольшой, но старинный город Сицилии, известный благодаря богиням, именуемым Матерями, и храму, который там воздвигнут".

[270]Из стих. "Она веселой невестой была..."(1908).

[271]Из стих. "Мне страшно с тобой встречаться" (1902).

[272]Заключительная строка стих. "О, нет! не расколдуешь сердца ты..." (1913).

[273]Из стих. "Когда вы стоите на моем пути..." (1908). Из стих. "О, весна без конца и без краю...", входящего в цикл "Заклание огнем и мраком".

[274]Эвфорион — сын Фауста и Елены, персонаж "Фауста" Гете. Белый опирается на интерпретацию гетевских образов Р. Штейнером, автором сочинений

58"Восемь картин настроений" (Ор. I. № 1—8).

59Из стих. "Э. К. Метнеру (Письмо)" (1909).

60Белый поехал к Э. К. Метнеру в Нижний Новгород 17 марта и вернулся в Москву в начале апреля. Вторично — на один день — он заехал к Метнеру в августе того же 1904 г.

61Неточная цитата двух начальных строф стих. "Премудрость" (1908).

62Строфа стих. "Мой друг" (1908).

63Первая строфа стих. "Искуситель" (1908).

64Из стих. "Я" (1907).

65Строфы из стих. "И я любил, и я изведал..." (1908).

66Б е к е т о в а. С. 81.

67Драма, опубликованная в альманахе "Шиповник" (1909. № 9). В тексте драмы было напечатано стих., датированное 27 марта 1908 г. и получившее впоследствии название "Песнь Фаины".

68Имеется в виду поэтический цикл "На поле Куликовом", впервые опубликованный в альманахе "Шиповник" (1909. № 10).

69Строки из стих. "Река раскинулась. Течет, грустит лениво" (1908), открывающего цикл "На поле Куликовом".

70Строки из стих. "И я любил, и я изведал...".

71Неточная цитата заключительных строк стих. "Отчаяние (Довольно: не жди, не надейся)" (1908).

72Б е к е т о в а. С. 58.

73Строки из стих. "Из хрустального тумана" (1909).

74Осенью 1907 г. Блоки переезжают в новую квартиру на Галерной улице, где они прожили по 1910 г. "Квартира была с окнами во двор, с одним ходом, во втором этаже; Ал. Ал. привлекало место и близость к театру Комиссаржевской, с которым были связаны тогда его главные интересы" (Б е к е т о в а. С. 80).

75Неточная цитата из стих. "Хулиганская песенка" (1906).

76Строки из 4-й симфонии "Кубок метелей".

77Неточная цитата из первой части двухчастного стих. "Ссора" (1907).

78Цитата из второй части стих. "Ссора" (1908).

79Цитата из стих. "Искуситель" (1908).

80Заключительные строки из статьи "Священная жертва" (1905).

81См.: С о б р. с о ч. Т. 8. С. 241. Строки из письма цитируются неточно.

82Калиостро Алессандро (Джузеппе Бальзано) (1743—1795) — итальянский авантюрист, алхимик и "чародей".

83Джунковский Владимир Федорович (1865 — не ранее 1938) — московский генерал-губернатор в 1905 г., товарищ министра внутренних дел.

84Эти, как и предшествующие строфы, — из стих. "Опять с вековою тоскою..." (1908), входящего в цикл "На поле Куликовом".

85Из стих. А. Белого "Сергею Соловьеву" (1909).

86Рукавишникова Варвара Сергеевна — сестра писателя Н. С. Рукавишникова, мачеха А. Тургеневой.

87Тарасевич (урожд. Стенбок-Фермор) Анна Васильевна — певица школы М. А. Олениной-д'Альгейм.

88Богословский Евгений Васильевич (1874—1941) — музыковед, пианист, профессор Московской консерватории.

89*Alheim Pierre d'.* La passion de maître François Villon. Paris, 1892 (Страсти мэтра Франсуа Вийона). О бароне д'Альгейм см. ком. 56 к гл. 1.

90Вилье де Лиль (наст. фам. Адан) Филипп Огюст Матиас, граф (1838—1889) — французский писатель.

91"Песня" (нем.). Двухчастная лекция Белого в Доме песни (1. "Песня и современность"; 2. "Жизнь песни") состоялась 6 ноября 1908 г.

92Шик Максимилиан Яковлевич (1884—1968) — поэт, переводчик, критик, немецкий корреспондент журн. "Весы".

93"Прекрасная мельничиха" (1823) — песенный цикл Ф. Шуберта.

[94]В имение Серебряный Колодезь Белый уехал после прекращения отношений и переписки с Блоком во второй половине мая и пробыл там с Э. К. Метнером до 24 июня 1908 г.

[95]Впервые — в газ. "Речь" (1909. 20 марта). Статья представляет собой текст речи, произнесенной 19 марта 1909 г. в зале петербургского Дворянского собрания.

[96]Напечатана в газ. "День" (1913. 18 октября).

[97]Бекетова. С. 83.

[98]Меблированные комнаты "Дон" "типичны, — вспоминал Белый в Начале века, — они помещались в оливковом доме, поставленном на Сенной площади среди соров и капустных листьев; дом стеной выходил на Арбат (против "Аптеки"), другим боком дом глядел на Смоленский бульвар; третьим — в паршивые домики с чайной: для извозчиков" (С. 55).

[99]Букв.: "Имеющему перебитые голени" (лат.) — книга стихов С. Соловьева, вышедшая в Москве в 1908 г.

[100]Баратынский и Тютчев — поэты, постоянно находившиеся в центре внимания Белого. См. его работу "Пушкин, Тютчев, Баратынский в зрительном восприятии природы"// Поэзия слова. Пг., 1922.

[101]О начале стиховедческих исследований Белого см.: *Гречишкин С. С., Лавров А. В.* О стиховедческом наследии Андрея Белого// Структура и семиотика художественного текста. Труды по знаковым системам, XII. Тарту, 1981.

[102]Была опубликована в журн. "Образование" (1908. № 8).

[103]В Москву Белый возвращается в начале сентября.

[104]Корш Федор Евгеньевич (1843—1915) — филолог-классик, переводчик, профессор Московского университета.

[105]Гречанинов Александр Тихонович (1864—1956) — композитор, педагог.

[106]"Пустое время" (греч.) — термин греческой античной метрики, служащий названием ритмической паузы, реже употребляемой в немецком стихосложении, чем в русском.

[107]Премьера пьесы Ст. Пшибышевского "Вечная сказка" в постановке Мейерхольда состоялась 4 декабря 1906 г. Выступление Белого с лекцией о Пшибышевском относится к первой половине ноября 1908 г.; оно легло в основу статьи "Пророк безличия" (Арабески).

[108]Ежемесячный научно-литературный и политический журнал, выходивший в 1880—1918 гг. в Москве. Вначале славянофильской, а позднее либеральной ориентации. После 1905 г. — орган кадетской партии.

[109]Лекция была прочитана в зале Тенишевского училища 17 января 1909 г. во время пребывания Белого в Петербурге.

[110]Неточность: первое письменное обращение Гершензона к Белому, содержащее просьбу написать отзыв о "Посолони" А. М. Ремизова, датировано 27 марта 1907 г. (см.: Между двух революций. С. 519). Рецензия Белого появилась в 1-м выпуске "Критического обозрения" в 1907 г.

[111]Голоушев Сергей Сергеевич (псевдоним Сергей Глаголь) (1855—1920) — врач, журналист, прозаик, искусствовед.

[112]Гершензон Мария Борисовна (1873—1940) — жена М. О. Гершензона, сестра А. Б. Гольденвейзера.

[113]См. комм. 52 к гл. 7.

[114]Эссеистически-дневниковая книга в 2 т. (М., 1913—1915).

[115]Ежедневная либеральная газета, выходившая в Москве в 1895—1918 гг. Издатель — И. Д. Сытин.

[116]Безант Анни (1847—1933) — английская писательница, президент всемирного Теософского общества. Главная ее работа "Человек и его тела" (1896) не была в описываемое время переведена с английского на русский. В России были опубликованы "Древняя мудрость" (Спб., 1910) и "Краткий очерк теософского учения" (Вестник теософии. 1908. № 1).

[117]Тэффи (наст. имя и фам. Лохвицкая Наталья Александровна) (1872—1952) — писательница и фельетонистка.

[11]Маслов Федор Иванович (1840—1915) — юрист.

[12]Баранов Алексей Алексеевич (псевд. Рем Дм.) (1891—1920?) — поэт, иследователь стиха.

[13]Доклад Баранова с объяснением нового математического способа определения стихотворного ритма был прочитан на заседании Ритмического кружка 4 октября 1910 г. (см.: Между двух революций. С. 542).

[14]Предложенную Барановым формулу счисления ритма Белый положил в основу своей теории "ритмического жеста", разработанную им в книгах "О ритмическом жесте" (1917; РГБ, ф. 25, карт. 4, ед. хр. 1) и "Ритм как диалектика и "Медный всадник" (М., 1929).

[15]В легенде о Граале — гора спасения, вершина, к которой ни один из смертных не может приблизиться. Символ высшего духовного совершенства. В "Парцифале" Р. Вагнера — замок Грааля.

[16]Кружок, собиравшийся в студии Крахта, известен под названием "Молодой Мусагет" (см. ком. 235 к гл. 1).

[17]Лекция "Трагедия творчества у Достоевского" была прочитана 1 ноября в Московском религиозно-философском обществе.

[18]Блок приехал в Москву 31 октября.

[19]Бекетова. С. 99.

[20]Бекетова. С. 98.

[21]В письме к Э. К. Метнеру от 19 декабря 1910 г. Блок предлагает "Мусагету" издать его "Собрание стихотворений" в трех книгах и новый сборник стихов "Ночные часы". Метнер 1 января 1911 г. ответил согласием и предложил выслать рукописи (см.: Между двух революций. С. 544).

[22]Об уходе Л. Н. Толстого из Ясной Поляны сообщалось 30 и 31 октября во всех газетах.

[23]Кизеветтер Александр Александрович (1866—1933) — историк, публицист, член ЦК кадетской партии.

[24]Имеется в виду статья Д. Мережковского "Балаган и трагедия" (Русское слово. 1910. 14 сентября), являющаяся откликом на статьи А. Блока "О современном состоянии русского символизма" (Аполлон. 1910. № 8) и Вяч. Иванова "Заветы символизма" (там же). Мережковский, выступавший тогда под лозунгом "религиозной общественности", упрекнул, в частности, Блока в "измене тому святому, абсолютному, что было в русской революции".

[25]Речь идет о не дошедшем до нас письме Блока, в котором он обвинил Мережковского в клевете. Кроме того, Блок написал в ответ на фельетон Мережковского оставшуюся неоконченной статью. Впервые она была напечатана в "Русском современнике" (1924. № 3) под условным названием "Ответ Мережковскому" (Собр. соч. Т. 5. С. 442—445).

[26]См.: Собр. соч. Т. 8. С. 321.

[27]Мережковский писал в своем ответном письме: "Я не могу согласиться с Вами, что я Вас "оклеветал" в своей статье. Клевета предполагает сознательный и злостный умысел, которого у меня не было. Я понял Вас так, как это написал в статье, и если неверно понял, то в этом виновата моя бездарность, *глупость сердца*, которую я в себе в высшей степени сознаю" (Собр. соч. Т. 5. С. 758).

[28]Там же.

[29]Машковцев Николай Георгиевич (1887—1962) — историк искусства, художественный критик.

[30]Казин Василий Васильевич (1898—1981) — поэт. Один из организаторов литературной группы "Кузница".

[31]В воспоминаниях ученицы Н. С. Гумилева Ирины Одоевцевой "На берегах Невы" (М., 1989) подробно описано, как в послереволюционные 1918—1921 гг. он обучал молодых поэтов теории поэзии и технике стиха, читал лекции, вел семинарские занятия в Институте живого слова и литературной студии в Петрограде.

[32]Панина Варвара Васильевна (1872—1911) — эстрадная певица, исполнительница цыганских песен, романсов.

[33]Первое "Собрание стихотворений" Блока в трех книгах вышло в издательстве "Мусагет" в 1911—1912 гг. В 1916 г. там же было осуществлено новое издание его произведений в четырех книгах.

[34]Блок вернулся в Петербург 5 ноября 1910 г.

[35]Первые наброски поэмы "Возмездие" сделаны 7 июня в Шахматово.

[36]А. Белый с А. Тургеневой отправился в заграничное путешествие 26 ноября 1910 г.

[37]Первый том "Путевых заметок. Сицилия и Тунис" вышел в 1922 г. в издательстве "Геликон" (М.; Берлин). Текст второго тома хранится в архиве Белого (Р Г А Л И, ф. 53, оп. 1, ед. хр. 15). Из него были опубликованы лишь отдельные фрагменты (см.: *Бугаева К., Петровский А., (Пинес Д.)*. Литературное наследство Андрея Белого // Литературное наследство. М., 1937. Т. 27—28. С. 610—611).

[38]Белый и Тургенева прибыли в Тунис 5 января 1911 г. Поселились в деревне Радес 15 января. См. гл. "Радес", "Путешествие на Восток" в Между двух революций.

[39]Ср.: "...я сделал открытое нападение на Эмилия Метнера в данном письме из Радеса; в нем я подытожил двухлетие "Мусагета" и сомневался, чтобы политика Метнера, главным образом накладывать свое "veto" на новые начинания наши, имела бы смысл. Я писал: "Мусагет приблизился к тупику, из которого выхода нет" (Между двух революций. С. 383).

[40]Здесь: подопытный кролик (нем).

[41]См. комм. 13 к гл. 4.

[42]Бекетова. С. 101.

[43]Общение с С. Н. Булгаковым, предлагающим Белому писать роман для журнала "Русская мысль", датируется серединой мая 1911 г.

[44]Из Москвы в Боголюбы Белый уехал 18 мая и пробыл там до 8 августа.

[45]Строки стих. "И опять, и опять, и опять..." (1911).

[46]Строфа из стих. "Опять с вековою тоскою..." (1908), входящего в цикл "На поле Куликовом".

[47]Цитата из стих. "В веках я спал... Но я ждал, о, Невеста..." (1911), входящего в цикл "Голос прошлого".

[48]В конце августа — начале сентября Белый с А. Тургеневой провели две недели в имении М. К. Морозовой в Калужской губ.

[49]С конца сентября Белый с А. Тургеневой жили на даче А. Н. Депре в Видном, близ Москвы (ст. Расторгуево Павелецкой ж. д.).

[50]Двухмесячник издательства "Мусагет" под редакцией Белого и Э. К. Метнера. Выходил в 1912—1916 гг.

[51]Яковенко Борис Валентинович (1884—1948) — философ, близкий к неокантианству; один из редакторов сборников "Логос".

[52]К работе над будущим "Петербургом" Белый приступил в октябре 1911 г. В середине сентября была достигнута договоренность о том, что к январю 1912 г. в журнал будет представлено первые 12 листов нового романа.

[53]Издательство М. И. Терещенко и его сестер, к которому близко стоял А. Блок. Существовало в 1913—1914 гг.

[54]Путеводители по разным городам и странам, получившие название по имени немецкого книгоиздателя Карла Бедекера (1801—1859).

[55]Белый имеет в виду лекцию о Египте, прочитанную им 5 ноября в московском Историческом музее.

[56]Приезд в Москву из Расторгуева — середина ноября.

[57]Белый с А. Тургеневой вернулись в Москву 25 декабря.

[58]Роман Д. А. Абельдяева "Тень века сего. Записки Абашева" был напечатан в № 6—12 "Русской мысли" за 1912 г.

[59]Белый не совсем справедлив к Брюсову, который пытался уговорить Струве публиковать роман: "Все же *новый роман Белого* есть некоторое событие в литературе, интересное само по себе, даже независимо от его абсолютных достоинств" (*Ямпольский И.* Поэты и прозаики. Л., 1989. С. 349).

[60]Приезд в Петербург датируется 21 января 1912 г.

[61]Гессен Иосиф Владимирович (1865—1943) — юрист, публицист, лидер партии кадетов, редактор газеты "Речь".

[62]См.: *Долгополов Л. К.* Творческая история и историко-литературное значение романа А. Белого "Петербург" // *Белый Андрей.* Петербург. М., 1981.

[63]28 января 1912 года Белым был сделан доклад в Обществе ревнителей художественного слова о работе Ритмического кружка над исследованием пятистопного ямба, а 13 февраля была прочитана в большой аудитории Соляного городка лекция "Современный человек".

[64]С докладами о символизме Белый и Иванов выступили 18 февраля в Обществе ревнителей художественного слова. Первый номер "Трудов и дней" открывают статьи Вяч. Иванова "Мысли о символизме" и "О символизме" Белого.

[65]Заграничное путешествие Блока продолжалось с 25 июля по 7 сентября 1911 г.

[66]Собр. соч. Т. 8. С. 365.

[67]Стриндберг Август Юхан (1849—1912) — шведский прозаик и драматург. Блок, переживший увлечение Стриндбергом, написал о нем статьи "От Ибсена к Стриндбергу", "Памяти Августа Стриндберга" (обе — 1912). В бумагах Блока сохранился также набросок "Ибсен и Стриндберг" (1912, опубл. Собр. соч. Т. 8. С. 687). "Знакомство с произведениями Стриндберга он считал, — писала Бекетова, — одним из событий своей жизни. Стихийное начало, глубокий мистицизм, специальная склонность к глубокому изучению естественных наук, общая культурность европейского склада — такое сочетание казалось Блоку до крайности значительным, и в этом периоде он рассматривал все события своей жизни с точки зрения Стриндберга" (С. 119).

[68]Из стих. "Вячеславу Иванову" (1912, курсив А. Белого).

[69]Встреча произошла 24 февраля 1912 г. в ресторане Лейнера.

[70]*Княжнин В. М.* А. А. Блок. Пб., 1922. С. 3.

[71]Бекетова. С. 123 (везде курсив А. Белого).

[72]Собр. соч. Т. 8. С. 333. Гильда (или Хильда) — героиня пьесы Г. Ибсена "Строитель Сольнес" (1892).

[73]Бекетова. С. 106.

[74]Первые две строфы стих. "Из хрустального тумана..." (1909).

[75]Строки стих. "Из хрустального тумана...".

[76]Неточная цитата из стих. "Унижение" (1911).

[77]Статья "Дитя Гоголя" (1909). Собр. соч. Т. 5. С. 379.

[78]Статья "Безвременье" (1908). Собр. соч. Т. 5. С. 434.

[79]Там же.

[80]Бекетова. С. 119.

[81]Переживая неразделенную любовь к С. В. Гиацинтовой (см. ком. 25 к гл. 8), С. Соловьев в состоянии нервно-психического расстройства покушался на самоубийство, после чего был помещен в психиатрическую лечебницу (см.: Переписка. С. 272—273, 280—281).

[82]Веселовский Юрий Алексеевич (1872—1919) — переводчик, писатель.

[83]Зоргенфрей Вильгельм Александрович (1882—1938) — поэт и переводчик, которого с Блоком связывали тесные дружеские отношения. Не случайно Блок в 1916 г. назвал Зоргенфрея в числе своих четырех "действительных друзей". На смерть Блока отозвался цитируемой далее мемориальной статьей "Александр Александрович Блок. По памяти за пятнадцать лет: 1906—1921" (опубл. впервые — Записки мечтателей. 1922. № 6); см. также: Александр Блок в воспоминаниях современников. Т. 2. М., 1980. С. 14.

[84]Кружок поэтов и критиков, оформившийся в ноябре 1911 г. и в дальнейшем ставший центром акмеистической школы. Об отношении к нему Блока см. его статью "Без божества, без вдохновенья (Цех акмеистов)" (1921).

[85]См. комм. 274 к гл. 6.

[86]Заключительные строки стих. "В ночь, когда Мамай залег с ордою..." (1908), входящего в цикл "На поле Куликовом".

[87]Мария Магдалина — в христианских преданиях последовательница Иисуса Христа, одна из жен-мироносиц. Она была исцелена Иисусом Христом от одержимости

семью бесами, после чего последовала за учителем, служила ему, делясь своим достоянием (Лука 8:2—3), присутствовала на Голгофе, была свидетельницей казни и погребения Иисуса Христа (Матф. 27:56, 61 и др.), а затем была извещена ангелом о его воскресении (Марк 16:1—8). В западной традиции Мария Магдалина отождествляется "с грешницей у некоего Симона, возлившей на голову Христа миро, омывшей ему ноги своими слезами и отершей их своими волосами" (*Аверинцев С.* Мария Магдалина — Мифы народов мира. Т. 2. М., 1988. С. 117).

[88]О переписке с Н. Клюевым Блок упоминает в статьях "Литературные итоги 1907 года" (1907) и "Стихия и культура" (1909). См. также письма Н. А. Клюева к Блоку (Л Н. Кн. 4).

[89]Белый обыгрывает одно из значений латинского предлога "inter" — "между".

[90]Термин, заимствованный из санскрита. В антопософской интерпретации он означает этически ориентированный, "сердечный" разум, который противостоит новоевропейскому рассудку.

[91]Обыгрывание имени близкого друга Разумника Васильевича Иванова (псевд. Иванов-Разумник) (см. комм. 238 к гл. 1).

[92]Grande Etre — Великое Существо (фр.) — изначально: центральная мифологема масонства, ставшая своего рода заменой образа единого Бога.

[93]Михайловский Николай Константинович (1842—1904) — социолог, публицист, литературный критик, идеолог народничества. Один из редакторов "Отечественных записок", "Русского богатства".

[94]Неточное цитирование стих. "За гробом".

[95]Заключительная строфа стих. "На железной дороге" (1910).

[96]Заключительные строки стих. "Унижение".

[97]Одна из первых ступеней посвящения. Образ Льва (знак евангелиста Марка) служит воплощением сердечной сферы.

[98]Из стих. "Ангел-хранитель" (1906).

[99]Из стих. "Клеопатра (Открыт паноптикум печальный)".

[100]Суккуб — злой дух, который, согласно древним народным верованиям, принимал женское обличье, чтобы спать с мужчинами.

[101]Из стих. "Вербы — это весенняя таль..." (1914).

[102]Заключительная строфа стих. "Есть демон утра. Дымно-светел он..." (1914).

[103]Строфа из стих. "Даже имя твое мне презренно..." (1914), входящего в цикл "Черная кровь".

[104]Из стих. "Я ее победил, наконец!" (1909) в составе того же цикла.

[105]Строки стих. "Как свершилось, как случилось?" (1912).

[106]Эти, как и предыдущие процитированные строки, — из стих. "Песнь ада" (1909).

[107]Из стих. "Унижение".

[108]Первая строфа стих. "К музе" (1912).

[109]Из стих. "Даже имя твое мне презренно...".

[110]Строки из стих. "Шар раскаленный, золотой..." (1912).

[111]Полностью приведено стих. "Как океан меняет цвет..." (1914), открывающее цикл "Кармен".

[112]Из стих. "Он занесен — сей жезл железный..." (1914).

[113]Первые строки одноименного стих. (1914).

[114]Имеется в виду заключительная сцена гетевского "Фауста" — "Горные ущелья, лес, скалы, пустыня", — в которой "доктор Марианнус" (т. е. "погруженный в молитвенное созерцание девы Марии") обращается к ней со следующими словами:

Миродержица, склонись
В лицезримой тайне
Всей твоей, взнесенной ввысь,
Синевой бескрайней!
(пер. Б. Пастернака)

[115]В христианских преданиях — раскаявшаяся блудница, удалившаяся в пустыню и прожившая там сорок семь лет в покаянии. В финале "Фауста" Гете она вместе с Марией Магдалиной и самаритянкой, в присутствии девы Марии и с участием Гретхен молит о прощении для Фауста.

[116]Строки из ранее цитировавшегося стих. "На железной дороге".

[117]Из стих. "Грешить бесстыдно, непробудно..." (1914).

[118]Строфа из стих. "Есть игра: осторожно войти..." (1913).

[119]См. ком. 137 к наст. гл.

[120]Эта, как и предыдущая цитата, — из стих. "Россия" (1908).

[121]Икона Божьей Матери ("Знамение") Серафимо-Понетаевская находилась в Серафимо-Понетаевской женской обители (Нижегородская губ.). Указом Синода признана чудотворной.

[122]Неточная цитата последней строфы стих. "Перед судом" (1915).

[123]Неточно цитированная заключительная строфа стих. "Ты отошла, и я в пустыне..." (1907).

[124]Очень искаженные строки стих. "Я пригвожден к трактирной стойке..." (1908).

[125]Неточная цитата из стих. "В густой траве пропадешь с головой..." (1907).

[126]Заключительная строфа стих. "Осенний день" (1909).

[127]Неточная цитата из стих. "Последнее напутствие" (1914).

[128]Эта, как и последующие цитаты, — из стих. "Дым от костра струею сизой..." (1909).

[129]Из стих. "В ресторане" (1910).

[130]Строфа стих. "Россия" (1908).

[131]Эта, как и последующие цитаты, — из стих. "Последнее напутствие".

[132]Из стих. "Есть игра: осторожно войти...".

[133]Как эта, так и следующая поэтическая цитата, из стих. "Опять с вековою тоскою..." (1908), входящего в цикл "На поле Куликовом".

[134]Здесь и через цитату ниже приведены строки из стих. "Русь моя, жизнь моя, вместе ль нам маяться?" (1910).

[135]Согласно соловьевской теории панмонголизма, оказавшей глубокое воздействие на миросозерцание "младосимволистов", христианской Европе грозит азиатское нашествие.

[136]На антропософском языке так можно определить встречу с Ариманом.

[137]Волшебник Клингзор и девица-язычница Кундри — персонажи рыцарского романа Вольфрама фон Эшенбаха "Парцифаль" (начало XIII в.).

[138]Эта и последующие цитаты из стих. "Опять над полем Куликовым" (1908), которым завершается цикл "На поле Куликовом".

[139]Из стих. "Опять с вековою тоскою...".

[140]Апокалипсический образ, необычайно значимый для символистов-соловьевцев. В "Краткой повести об Антихристе" (1900) Вл. Соловьева этот образ символизирует победу над Антихристом и соединений христианских церквей.

[141]См. ком. 26 к гл. 5.

[142]Страшно сказать (лат.).

[143]Согласно антропософским представлениям, основанным на идее тождества человека-микрокосмоса и мира-макрокосмоса, в бытии присутствует несколько планов: физический, душевный, духовный, которым соответствуют тело физическое, тело астральное (сфера страстей) и тело ментальное (сфера сознания), образующие в совокупности своей состав человека.

[144]Из стих. "Идут часы, и дни, и годы".

[145]Свет, проливпийся с неба, осиявший язычника Савла, гонителя христиан, на пути в Дамаск, после чего тот уверовал в Иисуса Христа и стал ревностным его последователем — апостолом Павлом (Деяния Апостолов, 9).

[146]Строки из стих. "Ты отошла, и я в пустыне...".

[147]Из стих. "По городу бегал черный человек" (1903).

[148]Неточная цитата из стих. "Двойник" (1909). Последующие поэтические цитаты, перемежающиеся с цитатами из стих. "На островах", — из того же стих.

[149]Строки из стих. "Дух пряный марта был в лунном круге..." (1910).

[150]Первые строки одноименного стих. (1914), входящего в цикл "Черная кровь".

[151]Строки из стих. "Как свершилось, как случилось?".

[152]Неточная цитата из стих. "Друзьям" (1908).

[153]Строфы стих. "Ты в комнате один сидишь..." (1909).

[154]Из стих. "Миры летят. Года летят. Пустая..." (1912).

[155]Цитируются строки стих. "Ночь — как ночь, и улица пустынна..." (1908).

[156]Строки из стих. "Как свершилось, как случилось?".

[157]Из стих. "Ночь, улица, фонарь, аптека...", входящего в цикл "Пляска смерти".

[158]Строки стих. "Пустая улица. Один огонь в окне..." (1912), входящего в тот же цикл.

[159]Первые строки стих. "Было то в темных Карпатах..." (1913).

[160]Из стих. "Как свершилось, как случилось?".

[161]Строки стих. "Было то в темных Карпатах...".

[162]Строфы стих. "Говорит смерть" (1915), завершающего цикл "Жизнь моего приятеля".

[163]Из стих. "Было то в темных Карпатах...".

[164]См.: Собр. соч. Т. 3. С. 297—298.

[165]Творчество французского писателя Эмиля Золя (1840—1902) в глазах символистов-"соловьевцев" являлось образцом позитивизма, грешило фатализмом, "фетишизмом быта" (Между двух революций. С. 194).

[166]Здесь и далее приведены строки из поэмы "Возмездие".

[167]Строфы стих. "Шаги командора" (1910—1912).

[168]Эта, как и последующая поэтическая цитата, — из стих. "Я их хранил в приделе Иоанна..." (1902).

[169]Приведены первая и последняя строфы стих. "Брожу в стенах монастыря..." (1902).

[170]Неточная цитата из стих. "Ужасен холод вечеров..." (1902).

[171]Из стих. "С прежней жизнью покончены счеты...".

[172]Эта, как и предыдущие цитаты, — из стих. "Как тяжело мертвецу среди людей" (1912).

[173]Заключительная строка стих. "Демон" (1910).

[174]Эта и следующая цитата — из стих. "Авиатор" (1912).

[175]Первые строки одноименного стих. (1912).

[176]Цитата из стих. "Весь день — как день. Трудов исполнен малых..." (1914), открывающий цикл "Жизнь моего приятеля".

[177]Искаженная цитата из стих. "Голос из хора" (1910—1914).

[178]Эта и следующие цитаты из стих. "Из хрустального тумана...".

[179]Строки из стих. "Идут часы, и дни, и годы..." (1910).

[180]Из того же стих.

[181]Из стих. "Унижение".

[182]Заключительная строфа стих. "Я сегодня не помню, что было вчера..." (1909).

[183]Концовка стих. "Вспомнил я старую сказку...".

[184]Первая строфа стих. "Говорят черти" (1915) из цикла "Жизнь моего приятеля".

[185]Две первые строфы стих. "Осенний вечер был. Под звук дождя стеклянный..." (1912).

[186]Продолжение цитирования того же стих.

[187]Заключительные строки стих. "Идут часы, и дни, и годы...". Три приведенные ниже строчки — из того же стих.

[188]Белый обыгрывает созвучие немецкого местоимения "я" ("Ich") и аббревиатуры "I. Ch" — "Иисус Христос".

[189]Ллойд Джордж (у Белого: Лойд-Джордж) Дэвид (1863—1945) — премьер-министр Великобритании в 1916—1922 гг., один из крупнейших лидеров либеральной партии.

[190]Вильсон Вудро (1856—1924) — президент США в 1913—1921 гг. от демократической партии. Инициатор вступления США в 1-ю мировую войну.

[191]Пуанкаре Раймон (1860—1934) — президент Франции в 1913—1920 гг., премьер-министр в 20-е годы.

[192]Строфы стих. "Мы, сам-друг, над степью в полночь стали..." (1908), входящего в цикл "На поле Куликовом".

[193]Из стих. "Россия".

[194]Эта и последующие цитаты из стих. "Новая Америка" (1913).

[195]Эта и последующие цитаты из стих. "Петроградское небо мутилось дождем..." (1914).

[196]Как уже отмечалось, заключительная строка стих. "Опять над полем Куликовым...", которым завершается весь блоковский цикл "На поле Куликовом".

СОДЕРЖАНИЕ

КОММЕНТАРИЙ К
IV ГЛАВЕ — СТР. 465
V — 474
VI — 478
VII — 490
VIII — 493
IX — 501

Андрей Белый
СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
Воспоминания о Блоке

Заведующий редакцией *В.Е. Вучетич*
Редактор *С.А. Куртинова*
Художественный редактор *О.Н. Зайцева*
Технический редактор *Р.Я. Лаврентьева*

ИБ № 9864

ЛР № 010273 от 10.12.92.
Сдано в набор 14.03.95. Подписано в печать 26.06.95. Формат 60x84 1/16.
Бумага книжно-журнальная офсетная. Гарнитура "Бодони". Печать офсетная.
Усл. печ. л. 29,76. Уч.-изд.л. 34,99. Тираж 15 000 экз. Заказ № 637. С 040.

Российский государственный
информационно-издательский Центр "Республика"
Комитета Российской Федерации по печати.

Издательство "Республика". 125811, ГСП, Москва, А-47, Миусская пл., 7.

Полиграфическая фирма **"Красный Пролетарий"**.
103473, Москва, Краснопролетарская, 16.